

P2
1991

ИСФАНДИЯР

ЛАСТОЧКИ СОСЛАНА



5300

ВОЗВРАТИТЕ КНИГУ НЕ ПОЗЖЕ
обозначенного здесь срока

| | | | |
|------------------|----------------|--|--|
| 24/12 85 - 655 | 26/11 - 07-125 | | |
| 18/12 - 1179 | 15/11 04 - 143 | | |
| 11/12 86 - 222 | | | |
| 13/11 86 - 2024 | | | |
| 22/12 86 - 912 | | | |
| 22/12 86 - 632 | | | |
| 21/12 86 - 193 | | | |
| 31/11 - 93 - 348 | | | |

ИСФАНДИЯР

ЛАСТОЧКИ СОСЛАНА

Повести и рассказы

Ташкент

Издательство литературы и искусства

1981

84P
И91

Исфандияр.

Ласточки Сослана: Повести и рассказы. — Т.: изд. лит. и искусства, 1980. — 184 с.

В своей новой книге молодой прозаик Исфандияр продолжает начатую им в предыдущем сборнике тему нравственного становления своего современника, выделяя при этом, как основу прочности характера, кровную связь с родной землей, с традициями и заветами отцов — будь то родная автору узбекская земля или земля Северной Осетии, как в повести «Ласточки Сослана».

И $\frac{70302-36}{M352(04)-81}$ 82-81 4702010200

84P7

ЛАСТОЧКИ СОСЛАНА

Поздняя осень в горах. Седые тяжелые тучи укрывают вершины гор. Вот на короткое время из-за густой пелены выглядывает солнце и вскоре снова исчезает.

Над одним из валунов поднимается мальчишеская голова.

— Трах, гах, тах!— выглянув из зарослей горного шиповника, стреляет в товарища комком глины второй. — Тимур, падай. Ты — убит.

Тимур с неохотой выходит из-за валуна, садится на землю. Теперь, когда он оказался вне игры, ему сразу стало неинтересно. Вдруг он замечает, как по тропинке вдоль сая тяжело идет старик с перекинутой через плечо почтовой сумкой.

— Эй! Смотрите, Сафар идет!— вскочил Тимур, показывая в сторону старика.

Мгновенно вокруг Тимура собирается вся ватага. Некоторое время все молча наблюдают за почтальоном, который, не зная, что за ним наблюдают настороженные мальчишеские глаза, идет медленно, то и дело останавливается, садится на какой-нибудь камень, достает из сумки конверт, рассматривает, как-то странно качает головой, прячет его в сумку. Смотрит вперед. Там, за невысоким горным хребтом, прячется маленький кишлак.

Тимур машет рукой, и мальчишки,

в которую они играли, начинают осторожно, словно опасаясь, что почтальон увидит их, от камня к камню следовать за ним.

Заур, самый рослый среди сверстников, прицеливается в Сафара из рогатки.

— Не попадешь, — говорит кто-то из ребят. — Далеко очень.

Заур сжимает зубы и стреляет.

— Э-эх! — подходит к нему Тимур, смотря на то место, где камень взметнул легкое облако пыли. — Надо было выше взять.

— Сафар опять кому-то «похоронку» несет, — замечает Тимур, глядя в сторону, куда ушел почтальон.

— Камнем бы в него! — заговорил Заур. Глаза его недобро суживаются. — Когда он будет проходить ущелье Барса. Подстеречь и... сверху.

Ребята молча переглядываются.

— Разве он виноват? — оправдывает почтальона Тимур. — Война ведь.

— А кто же тогда виноват? — вступает за вожака один из мальчишек. — Как придет, так в кишлаке плач! Сколько проклятий посылают на его голову, а ему все нипочем... На прошлой неделе старая Асилат три дня лежала, все даже думали, что не встанет, умрет!..

Ребята начали вспоминать все обиды, которые кому-либо нанес за это время Сафар, обсуждать план мести. Сафар давно скрылся из виду, и какое-то тревожное чувство овладевает Зауром, когда он вспоминает о том письме, которое вынимал из своей сумки почтальон.

— Смотрите, коршун! — показывает в небо один из мальчишек.

Все с замиранием сердца следят за коршуном, еще несколько минут назад парившим над ними, а теперь кружившим над кишлаком.

— Я пойду, — нарушил молчание Заур. — Мать говорила, чтобы я сегодня пораньше пришел.

— Я тоже пойду, — говорит Тимур, нагоняя дружка. Не оглядываясь, они быстро бегут в сторону кишлака.

— Ой! — вскрикнул вдруг Тимур, захромав на правую ногу.

— Чего ты? — оглянулся Заур.

— Колючка! — сел на землю Тимур. — Я сейчас... подожди.

Заур некоторое время ждет, потом машет рукой и устремляется вниз.

— За-а-у-ур! — догоняет его голос дружка, но он не оглядывается.

Еще издали Заур видит Сафара. Почтальон стоит перед его домом, опустив голову. Стоит минуту, две... Потом поднимает сумку с земли и уходит.

— Мама, что случилось? Мама! — влетает в дом Заур.

Ему кажется, что он кричит. На самом деле голос его едва слышен. Он смотрит на мать, которая читает письмо, переворачивает его, будто не веря своим глазам, снова читает. Заур видит, как бледнеет ее лицо. Письмо падает из ослабевших рук. Мать медленно опускается на табуретку.

— Мама! — подбегает к ней Заур, трясет за плечи. — Мама, что с тобой? Мамочка!

Но мать не видит и не слышит его, закрывает лицо руками, рыдания сотрясают ее тело.

— Бабушка-а-а! — зовет протяжно Заур, поворачивается и только сейчас замечает, что и она стоит здесь. Рядом. Словно окаменела. Не замечает, что держит в руках тяжелое блюдо с кукурузной мукой, мелкие желтоватые струйки которой стекают по ее черному платью.

Заур поднимает письмо. Буквы прыгают перед гла-

зами, как живые: «Пал смертью героя... Родина не забудет...»

— Па-па! — шепчет он, невидяще поднимая глаза на бабушку.

Он еще не верит, не хочет верить, что это — конец. Что больше никогда он не увидит своего отца.

«Нет! — хочется крикнуть ему. — Этого не может быть! Папа не умер! Он жив! Он не может умереть!..»

Но на это у него уже не хватает сил. Слезы застилают глаза. Кто-то берет его за плечо, выводит из дому.

— Мужчины не плачут, Заур. Мужчина должен всегда оставаться мужчиной, ты меня понимаешь?

Жесткая рука гладит Заура по голове.

— А за отца твоего я отомщу. Сам! Лично. Ты мне веришь? — говорит Сафар.

Заур кивает, хочет взять себя в руки, но не может. Слезы бегут по его лицу.

— Вот подлечусь и через месяц снова на фронт, а ты будь мужчиной в доме. Понятно!..

Перед кабинетом председателя исполкома ждут своей очереди на прием несколько женщин. Сафар хочет пройти мимо них, но секретарша преграждает ему дорогу.

— Председатель занят, Сафар-ака, — говорит она, указав на женщин. — Они тоже ждут...

Сафар отходит к окну, смотрит на улицу. У самого парадного к столбу привязана запряженная пролетка. Лошадь понуро трясет головой, собирая с земли остатки соломы. Острые ребра выпирают из-под натянувшейся кожи.

— Пожалуйста, Сафар-ака, — слышит он за своей спиной голос секретарши. — Председатель ждет вас.

Сафар, ковыляя, входит в кабинет, где за столом сидит председатель с перевязанной рукой.

— Освободите меня от почтальонства! — с ходу говорит Сафар. — Не могу я больше! Лучше женские платья шить буду, если другой работы для меня не найдете — только не это!

Сафар всхлипнул, вытер глаза грязным рукавом истертого пиджака:

— Не могу слышать, как меня проклинают, сил нет! Ворон, как черный ворон, мое появление в кишлаке — как чума... В лицо никто не смотрит, отворачиваются.

— Успокойтесь, почтенный, — встает ему навстречу председатель. — Подумайте сами, что вы говорите! Разве можно, женщине ли ходить по нашим дорогам? И разве женское сердце выдержит то, что выдерживаете вы? Ведь мы только вам могли доверить эту ответственную должность — и кроме вас некого на нее поставить. Потерпите, уважаемый Сафарджан!

Председатель, улыбаясь, похлопывает его по спине. Сафар понимает, что это лесть, но она приятна ему, и он незаметно для себя начинает сдаваться.

— Ну что вы!.. Я понимаю... Трудное это дело... Разве может женщина... Ладно уж... поношу... Только — не долго!..

— Хорошо, хорошо! — успокаивает его председатель. — Еще немного! Война скоро кончится, с доброй вестью будете стучаться в дома, и тогда увидите — вас будут встречать, как ласточку Сослана!

— Ласточку! — ворчит Сафар, закрывая за собой дверь. — Очень я похож на ласточку, да?

И, очутившись на улице, в который раз с изумлением убеждается, что уступил и на этот раз. А ведь шел сюда с твердой уверенностью: все! хватит! На этот раз уж его не уломают... Он останавливается перед пролеткой, разводит руками: на тебе, как и прежде, — почтальон...

Махнув рукой, сгорбившись как обычно, Сафар пошел к своему дому, ругая себе под нос войну, немцев, Гитлера, а под конец и себя, что родился на свет...

Зима всегда приходила в горы неожиданно. В долине еще цветут розы, в полную силу идет сбор винограда, а крыши и улицы горного кишлака уже оделись в белое. В этот день мальчишки просыпаются раньше всех, выскакивают во дворики, катаются на мягком, пока еще не холодном снегу. Потом собираются ватагой и несутся наперегонки в школу. Поравнявшись с домом Заура, они хором начинают выкликать его имя.

Заур подходит к маленькому, словно вырезанному в стене окошку, машет ребятам рукой.

— Мама, я пойду?

Он уже одет и теперь нетерпеливо посматривает на дверь, за которой слышен смех друзей, их крики.

— Иди, только приходи пораньше,— как всегда просит мать.

Заур кивает, устремляется к двери, но в этот момент появляется бабушка.

— Заурджан, — окликает она внука, завертывая в белую чистую тряпочку кусок сыра — Занеси это тете Хансилат.

Она поворачивается к невестке:

— Давно что-то я ее не видела, все не могу сходить. Болят старые кости, а у нее такое же горе, как у нас. Только еще свежее, не затянулось временем...

Отдает сверток Зауру, строго грозит ему пальцем:

— И смотри у меня!.. Чтоб после школы сразу домой...

— Ладно,— бурчит Заур, понимая, что строгость бабушки показная. За дверью он едва не сбил с ног соседку, которая шла к ним.

— Одни мальчишки в нашем ауле!— говорит она

с грустью, здороваясь с бабушкой и глядя в окно на убегающих сорванцов.— Где невест им наберем?

— К войне столько рождалось... к войне! — говорит бабушка, поглядывая на невестку.

— Невест им найти будет не трудно,— качает головой та. — Подрастут еще невесты... Вот где нашим девушкам... где они себе женихов искать будут? Сколько их сейчас хоронят на войне, женихов-то!..

Соседка качает головой:

— Да-а-а! Трудные настали времена... трудные...

Мальчишки, проходя мимо черных окон домов, заглядывают во дворы через низенькие дувалы, гадают, кто и сколько раз выходил на улицу. Заур чувствует себя вожакom. Когда он говорит, с ним никто не спорит. Разве что Тимур иногда дает ему отпор. Вот и сейчас он вдруг издает звонкий крик и толкает Заура в сугроб. Образовывается куча мала. Через минуту Заур выкарабкивается из свалки, оглядывается, вспомнив о бабушкином поручении, быстро бежит к дому тети Хансилат. Калитка во двор открыта, но на снегу никаких следов.

— Смотри, — догоняют Заура ребята.— Тетя Хансилат сегодня совсем не выходила из дому.

— Она уже четвертый день на улице не появляется,— говорит один из мальчишек, что живет неподалеку.— Болеет, наверное.

— Подожди меня тут, — говорит Заур и сует Тимуру свою сумку с книгами. — Я сейчас...

На белой целине за ним остаются четкие следы. Заур громко колотит в дверь.

— Тетя Хансилат, это я, Заур... откройте... Тетя Хансилат...

Он оглядывается на Тимура, который жестом показывает: тяни дверь. Заур робко тянет ручку на себя...

Вначале глаза его ничего не видят, постепенно Заур начинает различать в полумраке стол, кровать, сундук

у окна. Тетя Хансилат будто и не заметила вошедшего, по-прежнему сидит за грубо сколоченным обеденным столом, посреди комнаты, который делает ее еще меньше.

— Здравствуйте, тетя Хансилат, — заговаривает Заур, протягивая ей сверток.— Вот.. вам бабушка прислала.

Заур делает шаг и замечает, что она улыбается. Смотрит перед собой и улыбается какой-то потусторонней улыбкой, словно видит что-то такое, недоступное другим.

— Тетя Хансилат, — снова зовет ее Заур и кладет сыр на стол.

— Это ты, Заур?

Глаза женщины на какое-то мгновение приобретают осмысленность.

— Хорошо, что ты пришел, — говорит она, ласково улыбаясь ему. — Садись с нами... видишь, у нас праздник... Тотрас мой вернулся...

— Тотрас?

Заур с ужасом смотрит на пустой стул по другую сторону стола.

— Глупенький, чего ты испугался!— тихонько смеется тетя Хансилат.— Это он такой бледный, потому что у него рана была опасная. Но ничего... Это ничего! Я его вылечу, моего ненаглядного! Посмотришь, Заурджан, какой он у меня будет через месяц! Как раньше!

Все это время она обращалась к пустому месту за столом, где обычно сидел Тотрас, и Заур, напряженно следящий за ней, вдруг понял, что произошло самое страшное: тетя Хансилат сошла с ума!..

Он стал медленно пятиться к двери, но тетя Хансилат уже забыла о нем.

— Рассказывай дальше, Тотрас... рассказывай, мой соколеночек! Прости, что помешали! Я тебя слушаю, мой родной!..

Больше Заур ничего не слышал. Закрыв за собой дверь, он на цыпочках выбрался из дому. В лицо ему ударил колючий ветер: погода, как это часто случается в горах резко переменилась. Начинался буран. Мальчишки убежали в школу. Только на дороге сиротливо топталась маленькая фигурка. Это был Тимур.

— Тимур! — зовег друга Заурджан.

Тимур бежит к другу, который, сгибаясь, стоит на самом ветру, отдает ему сумку, и они устремляются к школе. Глубокие следы остаются за ними, но ненадолго. Через несколько минут перед домом Хансилат снова ровное белое поле...

Весна. Никто не думал, что она придет в горы так рано. Неделя прошла после женского праздника, а на склонах уже расцвели первые подснежники. Ручьи побежали с вершин, грозно перекатывая в мутных потоках обломки скал, тяжелые валуны. Солнце зажгло ослепительными искрами выдолбленную временем каменную чашу, куда медленно, капля за каплей, падает талая вода. «Слезам гор» называют эту воду. В кишлаке считают, что вода эта спасает от дурного глаза, искупавшись в ней, прокаженный излечивается от болезни... Многие, многие болезни боятся этой целебной воды...

Тезада, мать Заура, прильнула к чаше губами, потом намочила лицо, шею... медленно протянула руку к тому месту, откуда вода сочилась в чашу, подождала, пока в нее упадет прозрачная капля, и поднесла ладонь поближе к глазам. Делала она это так бережно и осторожно, словно держала в руке драгоценную крупинку и боялась из-за неосторожного движения потерять ее. Лицо ее, за минуту до этого неживое, каменное, точно слепок, трогает улыбка, и словно блеск солнца пере-

лился в ее глаза. Они вдруг засияли, когда она подняла взор к бездонному в своей голубизне небу.

Тезада прислонилась спиной к холодному краю, прислушалась к тому, что сладкой волной поднималось в груди. С самого утра что-то непонятное творилось с ней. Где-то внизу, в кишлаке, зазвучала мелодия дутара. Тихая, нежная, как песня жаворонка. И непонятно было, то ли это наяву, то ли пела ее душа.

Улыбнувшись своим мыслям, Тезада набрала в кувшин воды и начала спускаться вниз по тропинке. Вот и еще один год прошел. Третий. После начала этой страшной войны. И неизвестно, когда, наконец, она кончится? Когда начнут возвращаться домой те, кому суждено дожить до ее конца, вернуться в родной кишлак, увидеть родной порог.

Время весеннего сева для жителей горного кишлака всегда подобно празднику. Выходят на поле все — и стар и мал. Участки земли возле домов пусты и не ухожены. О них пока никто не вспоминает. Пока не закончатся работы на колхозных полях, к этой земле никто не притронется. Тезада со свекровью идут вдоль участка, словно расцвеченного пестрыми женскими платками. Старейшина кишлака, держа в правой руке выпеченную ржаную лепешку, а в левой чашку виноградного вина, бормочет вполголоса слова древнего заговора. Заур тянет мать за руку.

— Мама, а что он там колдует?

— Тсс! — прикладывает к губам палец Тезада. — Видишь — все слушают и не шевелятся, так и ты.

Заур пожал плечами, попробовал разобрать слова.

— ...чтобы житницы наши были набиты пшеницею, просом и овсом... доверху с достатками!..

Старейшина проливает вино на землю, а остаток льет себе на бороду.

— И не стыдно вам, отец, суеверия здесь разводите!

Возле старейшины останавливается молодой мужчи-

на лет тридцати — тридцати пяти. Уверенно оглядывая собравшихся, он насмешливо кривит губы и говорит:

— Зачем людям головы морочить? И... вы же, как мне помнится, не очень-то верите в аллаха!

— Так что же? — отдает старейшина лепешку женщине и проводит руками по лицу. — Не в вере тут дело. Обычай. Обычай отцов забывать нельзя. Ты же, Зарифджан, это забыл. Стариков, как детей, учить хочешь!

Хмыкнув, но не найдя подходящего ответа, мужчина отходит от старика и, заметив ухмылку на лице Заура, напускается на столпившихся вокруг женщин:

— Чего рты разинули! Работать, работать надо! Фронту хлеб нужен, а вы тут только и знаете, что языками молоть.

Он ударил камчой по голенищу сапога, скомандовал зло:

— Ну! Что смотрите? Пошли работать!

Лицо его — гладкое, умное, с тонкими чертами, которое можно было назвать даже красивым, стало недобрим. Он обвел женщин медленным взглядом, в упор посмотрел на Тезаду, которая не отвела взгляда, хотел сказать что-то, но вдруг закашлялся, схватился за грудь. И сразу лицо его стало каким-то по-детски беспомощным, жалким. Он отвернулся, закрыл рот рукавом, стараясь заглушить кашель. Глаза женщин, за минуту до этого хмуро глядевшие на бригадира, понемногу смягчились.

— Не жилец он на этом свете, — вздыхает свекровь, идя рядом с Тезадой, которая, не отвечая, подходит к корове, запрягает ее в плуг.

— Бедняга! — говорит женщина с грудью кормилицы. — Такой молодой и...

Женщины замолчали, заметив бригадира, который шел к ним. Заторопились, расходясь по своим участкам.

Бригадир будто не замечая обращенных на него взглядов, остановился возле Тезады.

— Вы — семья фронтовика, я выделил вам самый маленький участок,— сказал он вполголоса Тезаде,— вон там...

Бригадир махнул камчой в сторону небольшого треугольного поля на склоне горы. Тезада почувствовала на себе цепкий мужской взгляд, который будто сковал ее, опустила голову.

— Не в одной нашей семье фронтовик, — сказала она резко.— Мы все здесь равные. Ты лучше этот участок отдай тетушке Хансилат. Нас трое, а она одна.

Яркий румянец покрыл бледные щеки Тезады. Ей казалось, что все вокруг слышали слова бригадира, но отворачиваются, хотя в душе осуждают ее.

— Трое! — засмеялся Зариф. — Свекровь еле погоняет, не то что за плугом ходить. А Зауру с палкой по кишлаку бегать кур гонять... мальчишка еще! Трое! Сказала, гоже...

— Нет, я не мальчишка! — подскочил к бригадиру Заур и загородил собою мать.— И не нуждаемся мы ни в чьей жалости!

Голос его зазвенел как натянутая струна. Он выжидательно смотрит на мать, которая осуждающе качает головой:

— Не стыдно тебе, Заур, вмешиваться в разговор старших?

Заур сникает, отходит в сторону и начинает пяткой выбивать лунку в размякшей земле, чутко прислушиваясь к разговору.

— Ты слышал? — Тезада прямо посмотрела на бригадира. — Заур сказал то, что думала я. Не надо нам, Зарифджан, ничьей милости! А то что про нас люди скажут?

— Дело хозяйское, — пожал плечами бригадир. — Я хотел как лучше, но раз не надо, так не надо.

Он медленно, словно несправедливо обиженный, пошел к своему коню, внезапно обернулся, встретился с глазами Заура.

— У-у! Волчонок! — неожиданно вырывается у него, но тут же, поймав настороженный взгляд Тезады, спохватывается, набрасывает на себя маску доброжелательности.

Тезада некоторое время украдкой наблюдает за ним, любит его мерной немного усталой походкой, сильными жилистыми руками. Сладостное чувство вдруг охватывает женщину, но она испуганно, словно ее могли застать за чем-то недозволенным, стряхивает с себя оцепенение. Лицо ее обретает обычное каменное выражение. Она отыскивает взглядом сына, кивает ему: пошли...

Солнце вот-вот спрячется за вершинами гор. Тезада оттирает с лица пот, легонько бьет корову прутом.

— Ну, милая! Пошла-а-а!

Корова еле тянет за собой тяжелый плуг. Кривые неглубокие борозды пролегли сирова от Тезады. Тяжела, непривычна для нее эта работа, но надо... надо кому-то сеять хлеб!

Пог струйками стекает по лицу. Время от времени она освобождает одну руку, быстро оттирает фартуком лоб и глаза и вновь налегает на плуг. Налегает не сильно, чуть-чуть, но и этого достаточно, чтобы утомить корову. Бедная, бедная скотина, жалеет ее Тезада, и тебя не обошла война, будь она проклята! Все перевернулось в мире...

Рукоятка плуга натерла руку, но женщина не замечает этого. Нужно вспахать поле! Нужно засеять его! Нужно... Нужно... Нужно... Все нужно.

Тезада оглядывается назад, видит, как тяжело свекрови поспевать за ней собирать с пашни камни. И откуда они здесь берутся? Каждый год пахут землю и каждый год снова и снова собирают по полю камни.

чится война — в город, в университет послать, чтобы ученым сгал.

— Что сейчас говорить! — семенит та рядом с внуком. — Пусть Заур хоть школу закончит, а там будет видно.

— Обязательно его в университет нужно! — убежденно говорит Зариф. — В школе его хвалят, я узнавал. Говорят, что ему дальше учиться надо, жалко парня, если останется простым колхозником. Нет, в город ему обязательно надо, и для этого...

— Ладно! Помог нам — и хватит, — неожиданно прерывает его старуха, дергая за ремень корову, чтобы та остановилась. — Тезада, бери плуг! А тебе, Зарифджан, большое спасибо. За помощь спасибо, за хорошие слова, за добрый совет. Только война еще не кончилась, да и мальчику еще о-го-го сколько учиться надо, чтобы об университете думать!

— Тезада! — снова окликает она невестку.

Тезада будто просыпается, кладет руку на плуг. Лицо ее искажает гримаса боли. Зариф напряженно следит за ее движениями, за руками, которые он успел перевязать своим большим грубым платком, разорванным надвое. Тезада чувствует на себе его взгляд, на какое-то мгновение оборачивает к нему свое лицо, благодарно улыбается. Свекровь ловит ее взгляд, лицо ее мрачнеет.

— Ну, пошла! — кричит она на корову. — Застоялась совсем.

Зариф некоторое время смотрит им вслед, поворачивается и быстро идет к маленькому строению на краю поля...

...Лето навалилось на предгорную долину жаркое. Такого лета давно не видали старожилы кишлака. Камни обжигали как раскаленные угли, к ним нельзя бы-

ло притронуться. Женщины стирали белье, раскладывали его на гладкой, отшлифованной частыми ветрами и ливнями поверхности огромных валунов и уже через очень короткое время несли в руках сухие, даже слегка отутюженные платья, рубашки, платки.

Тезада склонилась над прозрачной водой. Простыня в ее руках похожа на белый саван, который рвет быстрое течение горного потока. Рядом мутят воду подруги, весело хохоча и переговариваясь между собой. Озорная молодость и легкая тоска нет-нет да и прорвется в шутливой реплике Аминат, высокой красивой девушки, которой едва исполнилось восемнадцать лет. Она первой начинает песню, а когда подруги подхватывают ее, первая же и прерывает:

— Эх-ха! Так петь хочется, чтобы слышали... а не для кого! — говорит она вдруг грустно. — Одни старики остались в кишлаке!

— А бригадир что же? Забыла о нем? — раздается рядом чей-то возглас.

Кровь ударила в голову Тезаде. Она почувствовала, как запылала се щеки. Быстро зачерпнула горсть воды, и, даже не почувствовав ее ледяного холода, окатила свое лицо. Ей казалось, что подруги не заметили ее волнения, вызванного упоминанием о Зарифе, но ядовитая стрела тут же настигла Тезаду:

— Ах, Зарифджан... но ведь он больной, — говорит ехидно Тавакал — почти не мужчина. Недаром же его не взяли на фронт!

— Не знаю, не знаю! — смеется Аминат. — Для кого он больной, а для кого и нет... Но если честно, так по мне — на все ближайшие кишлаки ни одного мужчины, который бы смог с ним сравниться...

— Что же ты теряешься? — под хохот подруг кричит Тавакал.

Тезада, будто оглушенная, боится даже поднять голову.

— Я бы с удовольствием, да занято его сердце!— притворно вздыхает Аминат.

При этих словах Тезада замерла, почувствовала, как перехватило у нее дыхание, как закружилось все перед глазами.

— Что и говорить, — продолжает сладким голосом Аминат, — Джигит что надо! Вот для него бы я спела, да еще как спела! Не отпускала бы от себя ни на шаг! Убаюкивала бы в своих объятиях, чтобы проснуться не мог!

Аминат замолчала, бросила на Тезаду пыливый взгляд и, засмеявшись, сказала:

— Увы, не познаю я его объятий! Сердце ведь его Тезада, наша тихоня, забрала!

— Не говори глупостей, Аминат! — не выдержала Тезада. Голос ее прозвучал глухо, с каким-то внутренним всхлипом. Но тут в атаку пошла Тавакал:

— Девчата, а ведь правду сказала Аминат! Не раз я тоже замечала: как увидит бригадир нашу Тезаду, точно под ледяную струю попадает. Весь белый становится, губы кусать начинает! Клянусь вам! Пусть глаза мои лопнут, пусть язык мой отсохнет, если это не так!

— Смотри, баба, — заступилась за Тезаду одна из женщин, — накличешь на себя... И вправду отсохнет язык твой, чем говорить тогда будешь? А слова твои от зависти! Подумать только... да кто на Тезаду дурное подумает — пусть не будет тому покоя ни на этом свете, ни на том! Я уж все знаю, дом в дом живем!

— Конечно, от зависти! — ничуть не смущаясь, ответила Тавакал.— Как же ей не завидовать: единственный мужчина на весь кишлак по ней сохнет. И какой мужчина!

Не в силах больше терпеть насмешки подруг, Тезада собрала белье, не поднимая глаз, быстро пошла домой. Она даже не заметила от волнения, что один ко-

нец полотенца упал на землю и белым хвостом волочится за ней. Когда Тезада ушла, женщины принялись стыдить Тавакал, которая, не отвечая на укоры, некоторое время молча смотрела вслед подруге, потом присела на корточки и принялась за стирку, тихонько напевая себе под нос какую-то тоскливую мелодию. На губах ее блуждала улыбка, когда она время от времени бросала на окружающих пытливые взгляды. И непонятно было: то ли грустит она, то ли просто подсмеивается над женщинами, то ли еще что...

Тезада медленно приближалась к дому. Ее шатало, точно после тяжелой болезни она впервые вышла на воздух. Казалось — еще немного и сердце выпрыгнет из груди и рассыплется под ногами на мелкие кусочки. Ей чудился смех Аминат, все понимающие улыбки подруг. Смятение охватывало душу: что? Что теперь о ней будут думать?..

Она торопилась, точно бежала от кого-то, успокаивала сама себя, все еще не понимая, что с ней что-то происходит, чего собственно она боится. Не понимала, но чувствовала душой — надвигается страшное, запретное. Чувствовала, боялась этого, но в то же время с какой-то необъяснимой сладостью в сердце ждала, ждала и ничего не могла с собой поделать, и потому страдала еще больше. Последнее время она стала замечать за собой, что все чаще и чаще думает о бригадире, вспоминает его глаза, его улыбку — нежную, добрую. Нет, нет! Ничего такого она о нем не думает! Просто.. просто ей хочется снова встретиться с ним взглядом, услышать его голос... Ведь это... не преступление?! Когда же случалось, что они сталкивались где-нибудь друг с другом (а в последнее время это происходило очень часто), сердце в груди так начинало биться, что стук его, казалось, и останавливал Зарифа —

не могла же она предположить, что встреча эта не случайная, что бригадир иногда часами ждет, когда она появится на улице, и еще больше не могла предположить, что где-то глубоко в подсознании сама ищет встречи с ним, идет по той дороге, где вероятность встречи с ним наибольшая. И вот, когда они вдруг сталкивались лицом к лицу, все вздрагивало в ней и ночь вставала в глазах. Едва слышно поздоровавшись, она замирала на мгновение, вглядываясь во что-то неуловимое в его глазах, делала маленький шагок в сторону и старалась быстрее скрыться из виду. Он не останавливал ее, только при этом словно сжимался весь и долго смотрел ей вслед. И пока она была ему видна, Тезада чувствовала его взгляд... Взгляд...

Да, все это потом вновь и вновь вставало перед ее глазами, и она понимала, почему Зариф молчит, понимала свое смятение... и его ожидание...

Хотя нет. Этого она еще не понимала! Понимала и не понимала. Разум ее отказывался понять, примириться с происходящим. И чем больше она сопротивлялась, отказывала себе в возможности думать о бригадире, мысль о нем все сильнее и сильнее преследовала ее.

У самого дома Тезада замедлила шаги, стараясь успокоить себя, привести в порядок мысли. Ведь мать не обманешь. Она всегда все почувствует.

Как Тезада и думала, мать была во дворе. Сидела на верхнем крылечке, положив под себя старенькую подушку, сшитую из разных доскутчиков в виде чешуи. Вокруг нее собрались соседские мальчишки и девчонки, которые, прижавшись круг к другу, завороченно смотрели на бабушку Заура и даже не слышали, как скрипнула калитка и во двор вошла Тезада.

— И тогда спросил Сослан у жены своей, Ведохи, которую он искал во владениях мертвых и нашел безглавою: «Как же случилось, Ведоха, что как только я приехал, ты была без головы, а лишь заплакал над то-

бой — змиг приросла твоя голова, и я могу с тобой разговаривать? Где же, скажи, она была?» И отвечает ему Ведоха, жена верная: «Как же ей быть на месте? Ведь моя голова была с тобой непрестанно: когда ты бываешь в далеком походе, она над тобой плавает облачком, чтобы заслонить тебя от жарких лучей солнца, чтобы ты не устал, не растратил понапрасну свои силы. Когда идет битва, голова моя превращается в ветер, который относит стрелы врага, чтобы они не поразили тебя в сердце. Когда меч врага касается твоего тела — она превращается в кренкую пластинку на твоей кольчуге, которая помогает выдержать сильный удар, который бы тебя мог поразить...»

— Ох! — от полноты чувств восклицает кто-то из мальчишек.

— Бабушка, она умерла и все равно думала о Сослане, так? — спросила звонким голосом худенькая девочка с большими, широко открытыми глазами.

— Да, моя хорошая, — засмеялась она, только сейчас заметив вошедшую во двор невестку. — Она всегда думала о Сослане и помогала ему во всех делах, чтобы никто не мог убить его. Ведь она, Ведоха, мудрая была и добрая очень...

Тут она поднялась, с трудом разгибая спину, мотнула головой:

— Ну все. На сегодня довольно, — улыбнулась она своим беззубым ртом. — А ты, Заур, быстро помоги маме. Не видишь разве — она устала?

Дети разочарованно проводили глазами метнувшегося к калитке Заура и пошли со двора.

— Давай, мама, — потянул на себя таз с бельем Заур и понес его в дом.

Когда бабушка Заура, кряхтя и сетуя на свои старые кости, вошла за невесткой, та лежала на кровати, утк-

пнувшись головой в подушку и сжимая в кулаках старое, протертое местами покрывало.

Тезада лежала спиной к двери и не видела вошедшую, но мысленно представила всю картину, которая сейчас последует. Вот она вошла в дом, тяжело переставляя ноги прошла к очагу, опустилась на маленькую табуретку и застыла в безмолвии, ожидая, когда невестка успокоится и захочет сама рассказать ей, что у нее на душе. И Тезада действительно скоро оторвала от подушки голову, и, глядя на старуху заплаканными глазами, простонала:

— Матушка, не терзайте вы меня! Ведь я ни в чем не виновата!

— Разве же я тебя виню, дочка?

Старуха горестно вздохнула, отвела взгляд и, выждав какое-то время, тихо заговорила словно бы сама с собой:

— Я знаю, что ты сама прекрасно все понимаешь: на могиле его мы не были. Не видали мы могилу Камболата! Поминок ему не делали! Голодный он на том свете — если он действительно...

Речь ее, вначале спокойная, становится глуше и глуше и в конце уже почти не разобрать слов, Тезада смотрит, как по бурой морщинистой коже, прокладывая мокрые борозды, стекают слезы, и сникает от обрушившихся на нее тяжелых слов. Но все же она попыталась защитити себя:

— Разве мы не оплакали Камболата? И почему, почему вы меня, мать вашего внука, не хотите жалеть? Ведь я же живая? Я... вы сами всегда говорили, что дочь вам!..

Грустная улыбка скользнула по лицу старухи, когда она, выслушав обвинения Тезады, вновь заговорила, успокаиваясь сама и успокаивая невестку:

— Ты ошибаешься, дочка! Я жалею вас всех: и тебя, и Камболата, и ... его.

При этих словах Тезада быстро вскинула глаза на старуху, но та утвердительно повторила:

— Да, да! И его! Потому что понимаю, вы молоды, а молодость не может ни на что обращать внимания, но ведь... у тебя сын, который тоже все видит и все понимает. И еще... Камболат... кто его мертвым видел? А если он и ... умер... нельзя... пока не кончится война, не можешь ты забыть его, потому что мертвым тоже очень больно, когда их забывают...

Стало тихо. Невестка и свекровь сидели друг против друга. Каждая думала о чем-то своем, и только грубоватые, ярко раскрашенные часы с кукушкой, которые, уже и не вспомнить когда, привез из города Камболат, неумоимо отсчитывали время, словно предупреждая о чем-то, напоминая и остерегая.

Незаметно подкралась осень. Черная перекопанная земля, на которой еще неделю назад во всю кипела работа, покрылась твердой коркой.

— Ти-и-мур, давай сюда, — позвал друга Заур, — здесь целая семья!

Тимур, спотыкаясь о глиняные бугры, побежал по вязкому полю. Сегодня Зауру везло больше, чем ему. Его заслуга, что мешок уже на треть заполнен картошкой, которую не нашли те, кто собирал здесь урожай до них.

Тимур помог другу побросать в мешок оставшиеся картофелины, отер со лба пот:

— Все. На сегодня хватит.

Заур посмотрел на быстро темнеющее небо и согласно кивнул.

— Хватит так хватит, — проговорил он, пробуя одной рукой приподнять с земли мешок. — Ого!

— Килограмм двадцать потянет! — пробуя добычу на вес, сказал Тимур.

— Живем, а? — хлопнул его по плечу дружок.

Они быстро поделили картошку, взвалили мешки на спины и потопали к кишлаку. Считая, что найденное в поле, которое уже убрано, принадлежит им по праву, мальчишки не прячась ни от кого, шли прямо по середине дороги.

— Эй, мелюзга! А ну, стой! — вдруг остановил их грозный окрик.

Друзья испуганно переглянулись, увидев будто изпод земли возникшего бригадира, но бежать не решились.

— Не вздумайте бежать! — словно прочитал их мысли бригадир. — Хуже будет.

— А мы и не думаем убегать, — глухо ответил Тимур, исподлобья глядя на приближающегося Зарифа. Действительно, куда бы они убежали, имея за плечами тяжелые мешки с картошкой. Бросить — жалко.

— Ну, ну! — усмехнулся бригадир, подходя к мальчишкам вплотную и сдергивая мешок с плеч Заурджана. — Что это у тебя?

Он вытряхнул мешок, и на землю полетели картофелины.

— Эге-ге-ге! — притворно изумился бригадир, впиваясь глазами в мальчишек. — Да тут — воровство! Хищение государственного имущества, вы знаете, что за это вам полагается, а? Люди на войне... кровь проливают за вас, а вы!.. Воровать!

Он заставил ребят собрать с земли картошку и повел в кишлак, на всякий случай держа за воротники.

— Война идет, отцы их на фронте кровь проливают, а они... на колхозное добро...

— Мы не воровали, — всхлипнул Заур, представив себе лица матери, бабушки. — Дядя Зариф, отпустите нас... пожалуйста...

— Не воровали! — в голосе бригадира прорвалось

плохо скрытое злорадство. — А мешки эти... я вам... подарил?..

— Мы на пустом поле набрали,— промычал Тимур.

— Два мешка на пустом поле, ай-яй-яй-яй-яй! И врать толком не умеете, а все туда же... на пустом поле...

У дома Заура он остановился, посмотрел на его дружка, погрозил пальцем:

— Ты здесь подождешь! И не вздумай убежать, убежишь — еще хуже будет! От меня не скроешься.

Он снял с его плеч мешок с картошкой и подтолкнул Заура:

— Пошли, что остановился!

Первой их встретила бабушка. Побледнела, увидев измазанного в глине внука, за которым в калитку ввалился Зариф.

-- Что?! Что случилось, Заурджан?

Она дрожащими руками отряхивала с внука землю, беспомощно переводила взгляд на бригадира, лицо которого было в эту минуту торжественно строго.

— Заурджан, внучек мой, почему ты молчишь?

Заур метнул на бригадира затравленный взгляд, опустил голову и только дернул плечом.

— Другого я бы сразу в правление колхоза повел,— начал объяснять бригадир. — Каждый на моем месте так бы поступил, но я не мог. Бабушка, вы меня понимаете... Должны понять. Сердце... здесь вот,— показал он на левую сторону груди,— болит у меня. Я к вашему Зауру... как к родному сыну отношусь.

При последних словах Заур быстро вскинул голову, встретился глазами с бригадиром, но тут же, не выдержав его жесткого взгляда, опустил голову.

— Посмотрите на него, бабушка! — качает головой бригадир, — ему сейчас кажется, что все это... что не он картошку воровал, а я!

Он поворачивает к себе мальчика, пробует приподнять вверх подбородок:

— Пойми, дорогой, что за это тебя в тюрьму могут укатать! — он снова переводит взгляд на бабушку. — Я знаю, уважаемая бабуля, что вы никогда не думали о таком... не хотели, чтобы ваш внук... но и меня вы должны понять! С меня спрашивают, другой бы на моем месте...

— Спасибо, спасибо, дорогой Зарифджан! — слезы заблестели на ее глазах. — Я все понимаю, спасибо тебе, что пожалел мою седую голову. Поверь, Заурджан больше никогда... правда?.. Ты больше никогда не сделаешь такое?

Она касается дрожащими руками его головы, гладит по волосам. Он понимает, что бабушка тоже все понимает и ждет, чтобы он быстрее сказал, что хочет она и бригадир, хочет быстрее закончить этот спектакль. Она все понимает, его бабушка, она умная. Понимает, почему бригадир сейчас выставляет себя таким добряком, таким благородным. Понимает и потому хочет, чтобы он произнес эти проклятые слова: «Да, я больше никогда не буду... воровать!» Но как, как заставить себя произнести эти слова, если он действительно ни у кого ничего не воровал? Он просто вместе с Тимуром собирал на поле то, что осталось после уборки урожая, все равно картошка бы сгнила в земле до весны, и никому от этого не было бы никакой пользы: ни колхозу, ни государству. Он все это понимает, но ничего не может с собой поделаться и потому молчит, готов грызть свои руки, валяться в ногах у бабушки (когда за бригадиром закроется дверь, конечно), но молчит.

— Заур, ты что? Не слышишь меня?!

Голос бабушки начал дрожать, как это случалось, когда она начинала особенно сердиться.

Заур поднял на нее умоляющие глаза, словно бы говоря: «Ну, бабушка, неужели ты ему поверила? По-

верила, что я вор?!» Глаза его предательски заблестели. Нет. Раньше она всегда понимала его без слов, что же теперь с ней случилось? Неужели она не видит...

Вдруг скрипнула дверь, и в комнату вошла мать. Увидя ее, Заур дернулся было ей навстречу, но между ним и матерью изваянием стоит бригадир, и Заур пристыженно отводит взгляд.

— Что здесь происходит?

Тезада удивленно оглядывает всех по очереди и останавливает вопросительно-требовательный взгляд на Зарифджане.

— Ничего, ну что ты так сразу с порога! — укоризненно успокаивает ее свекровь. — Вот... тут... Зарифджан... зашел проведать. Шел мимо и зашел на огонек, вот.

— Да, — улынулся, просияв, бригадир. — Шел, смотрю — Заур бежит со своим дружком. Остановил его, думал, натворил что-нибудь, проказник. Нет, хвала аллаху, все в порядке...

— Э-э-э! — встрепенулась бабушка, слегка толкнув внука к двери. — Совсем голову потеряла, старая! Что мы тут стоим, проходи, Зарифджан, в комнату, чаю попьешь.

Бригадир засветился весь, словно только этого и ждал. Быстро скинул с себя куртку, стряхнул с нее невидимую пыль и, повесив на гвоздь возле самой двери, прошел к столу. Заур отодвинулся настороженно, когда тот проходил мимо него, и неуклюже, по стенке, по стенке юркнул в полуоткрытую дверь.

— Сынок, ты куда? — окликнул его голос матери.

— Пусть, пусть идет, — вступилась за него бабушка, и Заур, не останавливаясь, выскочил на улицу, где возле стены ждал решения своей участи Тимур.

— Совсем от рук отбился, — вздохнула Тезада, прислушиваясь к топоту убегающих мальчиков.

— Зачем парня в доме держать? — засмеялся брига-

дир, ласково глядя на молодую женщину. — Пусть гуляет... Мальчишка в доме, как заряженное ружье без призора. Или выстрелит само собой, или быстро заржавеет.

В этот вечер в доме Тезады особенно долго горела керосинка. Бригадир чувствовал себя си бодно, много смеялся, рассказывал о своей жизни. Он словно не замечал подчеркнутого внимания бабушки Заура, которая всячески поддакивала ему, вела себя так, словно сегодня в доме самый дорогой гость. Только иногда нет-нет и мелькнет в ее глазах непонятная искорка, или дрогнет неожиданно голос, когда она попросит о чем-то Тезаду, или вдруг наступит тишина — и сразу становится как-то неуютно в комнате, холодно, и мелькнет в глазах нечто похожее на отчужденность, настороженность — становится ясно, что доброжелательность хозяев за столом, громкий смех гостя — все это фальшиво.

Наконец он уходит. Бабушка выходит на улицу и зовет внука. Заур возникает из темноты так неожиданно, что она испуганно вздрагивает, шлепает его легонько по затылку:

— Где ты до этих пор бродишь, полуночник этакий!

Она берет его за руку и ведет в дом, где их молчаливым изваянием встречает мать. При виде ее Заур отстаивается у порога, смотрит ей прямо в глаза.

— Входи, входи, что встал!

Тезада еще не знает, почему бригадир пришел к ним в дом. Весь вечер она не проронила ни слова, будто чувствовала, что этот визит Зарифа неспроста, что не случайно и свекровь с ним так приветлива. Она смотрит на сына, переводит взгляд на свекровь.

— Мама, объясните мне, наконец, что тут было?

Заур тоже смотрит на бабушку, которая молча подходит к стене, снимает с крюка отцовскую плетку и, глянув властно на внука, безмолвно приказывает ему подставить спину.

— Мама!— глаза у Тезады округлились.

— Ну?

Голос у бабушки твердый. Сейчас она была не той, что занесивала перед бригадиром. Заур отворачивается к стене и закрывает глаза.

Плетка рассекает воздух со свистом.

Удар! Еще удар! Еще...

Он стискивает зубы, чтобы не застонать. Краем глаза видит, как мать сжалась вся на своем стуле... Еще немного, и она бросится к бабушке... При каждом ударе она вздрагивает всем телом, точно это ее бьют. Бьют сильнее, чем чувствует он...

«Не е-ет!»— Только не закричать!

Заур принимал удар за ударом: так, так, так... тебе и надо!— стучало у него в голове.

Наконец, бабушка бросает плетку в угол.

— А теперь скажи: «Спасибо за науку!»— голос ее хрипит, словно кто-то сдавил ей горло.

Заур пробует что-то сказать, но губы не слушают его. Из рта вылетает какое-то мычание.

— Не слышу!

— Спасибо... за науку,— из последних сил удерживая слезы, проговорил Заур.

— Иди спать,— так же сурово приказывает бабушка.

Через несколько минут он лежал в постели, укрывшись с головой, и крепко спал, изредка вздрагивая во сне. Но сон его длился не долго. Заур проснулся внезапно, как и заснул. Подумал даже, что не спал, только закрыл глаза и тут же снова открыл. Бабушка неподвижно сидела у очага, а мама на табуретке возле двери.

Несколько минут он заворуженно смотрел на бабушку, которая сейчас была похожа на каменную статую. Заскорузлые черные руки лежали на острых коленях, выпирающих из-под грубого старого платья, губы ее шевелились. Огонь очага на какую-то долю секунды выхватил мутноватый блеск широко открытых невидящих

глаз, морщинистое в скорбной задумчивости лицо усталого человека, взвалившего на себя тяжелую ношу, которая вдруг стала непосильной.

Взгляд Заура останавливается на руках, которые наказывали его: большие, узловатые от долгой неженской работы пальцы мелко дрожали.

Вдруг непонятная и жгучая жалость к бабушке стала подниматься в его груди.

— Бабушка! Бабуленька! — разрывает он тишину неожиданным криком.

— Ну, что ты! — быстро смахнув слезы рукавом платья, повернулась она к внуку. — Спи... Укройся и спи, а то завтра работы много.

— Бабушка, — не слушал ее Заур, — ты... ты из-за меня? Из-за того, что... из-за плетки, да?!

Бабушка кинулась к нему, прижала его к горячей груди:

— Ну, ну, маленький! — запричитала она едва слышно. — Замерз? — она стала укутывать его в одеяло. — Дрожишь весь...

— Не надо, бабушка! — всхлипнул Заур. — Я не... ты не плачь, пожалуйста! Я же понимаю, меня нельзя было не наказать, и мама тоже понимает! — посмотрел он на мать. — Она тоже не обижается на тебя, правда, мама? Ты же не думаешь плохо про бабушку?

— Смотри на него! — улыбнулась бабушка. — Ожил совсем...

Лицо ее будто бы засветилось каким-то внутренним светом.

— Спи, тебе говорят, а то приснится во сне страшный дракон!..

Заур, успокаиваясь, лег на спину, плотнее завернулся в одеяло. Взгляд его скользнул по стене, на которой было развешено оружие отца: несколько ножей, старая, оставшаяся от дедушки сабля и ружье.

— А дядя Холмат письмо прислал своим. Пишет,

что он уже пятерых фрицев укокошил. Он теперь снайпер! — сказал он, мечтательно закрывая глаза.

— Спи уж, — прикрутила фитилек керосинки бабушка, — вырастешь, тоже снайпером станешь...

Снова в комнате воцарилась тишина. И только часы все так же ровно и безразлично отсчитывали время, навевали спокойствие и сон: потерпите!.. еще немного!.. войне скоро конец!..

Ко-нец, ско-ро! Ко-нец, ско-ро!..

Удар железкой о рельсу, подвешенную на тутовом дереве, возвестил окончание уроков, вместе с третьим ударом школьные двери широко отворились, и на улицу высыпала шумная ватага.

— Заур! Заур, давай быстрее!

Тимур выскочил из школы одним из первых, отбежал к арыку и стал поджидать дружка.

— Чего тебе?

— Приходи, когда стемнеет, в пещеру Барсов, у меня там кое-что есть.

— Что? — насторожился было Заур, но тут же принял равнодушный вид. — Что там у тебя может быть?!

— Да подожди ты! — хватает его за руку Тимур. — Приходи, увидишь...

— Не могу сегодня, — говорит Заур, намереваясь уходить. — Мама просила сегодня быть дома, сам знаешь...

— Э-э-э! — машет рукой Тимур. — Мама, мама! Я тебе... мы такое с тобой сделаем!..

Он оглядывается и переходит на шепот.

— Я патроны достал.

— Патроны! — глаза у Заура блеснули. — Какие патроны? Где?

— От ружья, — ухмыльнулся в ответ Тимур. — В сундуке нашел. Дома никого не было, я полез по-

смотреть, что там есть, и нашел случайно. Целую коробку, тридцать штук. — Он замолчал, пытливо глядя на дружка. — Твое ружье — мои патроны... Ну, как? Идет?

— Идет! — Заур облизнул вмиг пересохшие губы.

Его вдруг залихорадило: патроны есть... патроны! Теперь можно пострелять по-настоящему, не то что из рогатки или из лука. Научиться стрелять без промаха и... на фронт, в снайперы... как дядя Холмат...

— Так ты придешь? — вернул его на землю голос Тимура.

— Конечно!

Тимур засмеялся, с силой ударил дружка по плечу и принужден был в сторону своего дома.

— Когда сядет солнце, у пещеры, — прокричал он уже на бегу...

...Солнце медленно село на самый пик вершины горы, потом еще медленнее сползло за остроконечный пик. Еще немного, и оно исчезнет совсем...

Заур легко бежал по узкой тропинке, которая, петляя и огибая колючие заросли барбариса, поднималась к пещере Барсов. Когда он пробежал мимо огромного валуна, издали напоминающего человеческую голову, сбюку, метрах в двадцати от него, взмыл в небо большой орел. Заур вскинул голову, следя за полетом хозяина вершин, но споткнулся, пробежал по инерции несколько шагов, едва увернулся от обломка скалы, возникшего на его пути, и понесся дальше.

Он и не почувствовал, что сбил большой ноготь на правой ноге, ликовал, мысленно ощущая в руке тяжелые железные гильзы. Давно, ох, как давно, хотелось ему хоть один раз стрельнуть из отцовского ружья, да не было патронов! Может, дома они и есть... Да, что там! Конечно же есть, не может не быть, но только разве найдет он бабушкин тайник!.. Сколько раз уже обшаривал дом, сарай, подвал!..

Вдруг рядом кто-то засмеялся. Заур будто налетел на невидимую стену, замер на одном месте и, медленно, стараясь ступать неслышно, двинулся к обрыву. Там, внизу, кто-то был. Оттуда до него донесся мужской смех, который он не мог не узнать. Так мог смеяться только бригадир. С кем это он здесь прячется в такое время? От кого скрывается?

То, что бригадир не один, это ясно: не может же он говорить и смеяться сам с собой. Но кто это с ним?

Простое любопытство толкало Заура подкрасться неслышно к краю обрыва и посмотреть... Любопытство и... Что-то неприятное поднималось в его груди, подталкивало его вперед: иди-и!.. Иди, убедись!..

— Как хорошо здесь!..

— А я тебе что говорил? — уверенный голос мужчины. — И хорошо, и от глаз подальше.

— Знаешь, я очень люблю ночное небо... смотреть на звезды и загадывать желание, когда они начинают падать...

— Помнишь, ты поскользнулась на дороге и чуть не свалилась?

— Ты бросился ко мне и поймал почти на лету, — танкий смешок, словно медяк упал на каменный пол.

Заур, задыхаясь, лежал на земле, кусал руки, чтобы не закричать...

Мама! Неужели... она с этим... этим...

Он ничего не видел и не мог видеть от бешенства, от ненависти. Да, ненависти! Сейчас только ненависть была в нем: он ненавидел в эту минуту ту, которую любил больше всего на свете, которая дала ему жизнь; еще больше ненавидел человека, который был виной этому, человека, который отнял у него мать! Мать! Мать!

Ох! Как он сейчас жалел, что не взял с собой ружье! Ружье! Будь оно сейчас у него... не пожалел бы!.. Никого не пожалел!.. Никого!..

Ему вдруг показалось, что еще немного и он умрет. Умрет, не сходя с этого места, потому что даже на то, чтобы встать или отползти хотя бы, у него не было сил! Наконец, не в силах больше выносить этой пытки, он откатился к скале и, вгрызаясь зубами в землю, завыл. Завыл тихо, не разжимая судорожно сведенных губов, боясь что его услышат...

— И как? Исполнились твои желанья?

— Нет, но... я все равно люблю смотреть на звезды и верю, что каждая — это чья-то судьба...

— Где же среди них наши судьбы, Тезада?

— Там,— глядя на небо, сказала Тезада.— Попробуй отыскать их.

— Искал вот,— голос Зарифа дрогнул.— Всю жизнь ищу...

Он замолчал на минуту и продолжил медленно, словно подбирая слова:

— Я ведь помню все, если ты забыла! Помню, точно это было вчера... Эх, Тезада, Тезада! Как же ты могла? Ведь знала, что любил тебя, что ждал только отца... чтобы пошел сватать тебя, и... вдруг — свадьба!

— Разве? А я-то подумала, что-то у тебя случилось! Говорил — жди сватов, а сам в город укатил.

— Не язви, пожалуйста, я серьезно...

— А я?! Я — что?! Да, я назло тебе вышла замуж, вот! И не надо теперь об этом говорить, потому что... потому что это нечестно... он на войне, у меня сын растет.

Голос у нее срывается, звучит почти умоляюще:

— Ну зачем тебе я? Оставь меня в покое, Зарифджан! Я не могу... не могу так жить... Ты еще молод, вон — Аминат иссохлась по тебе, спит и мечтает стать твоей женой: красивая, молодая, что тебе еще надо? А меня оставь, не мучай! Пожалей меня!

— А кто меня пожалеет? Кто?! Я все эти годы думал о тебе... Если бы ты знала...

— Да знаю я все, зи-а-аю! — почти закричала Тезада. — И ты знаешь и знал раньше, что я всегда любила тебя, только тебя! Хотела забыть, молила бога, чтобы он помог мне в этом, но не смогла! И зачем ты снова приехал к нам?! Зачем? Было бы возможно, вырвала бы память вместе с сердцем, чтобы не чувствовать ничего! Ах, Зариф, Зариф! Что ты наделал? Если бы ты... если бы посватался тогда, разве я бы тебе мешать стала? Ни за что! Ждала бы... всю жизнь ждала, езжала куда хочешь, учишься, работай, только бы знать, что приедешь, что помнишь! Я ведь все понимала, а ты — ты ничего не понял, ночью сбежал, как вор!

— Но ведь теперь мы вместе, я приехал.

— Для чего ты приехал? Ради меня?.. Боишься, что заберут тебя на фронт, отсидеться в глуши захотел, так? Ну, признайся честно, так ведь?!

— Что ты говоришь, Тезада! Опомнись! Ведь я... и... у меня броня! — кровь ударила ему в голову от такого оскорбления. — Меня прислали сюда, женщина! Прислали работать, а не отсиживаться, ясно тебе?!

Стало тихо. Заур лежал на спине и слезы текли у него по щекам. Что? Что он мог сделать сейчас?!

— Ты куда, Тезада?

— Пусти меня, Зариф. Мне пужно домой, уже поздно.

— Тезада, милая ты моя, да пойми ты!.. Я не могу! Не могу больше так! Я люблю тебя, я с ума схожу по тебе, неужели ты не видишь этого?! Тебе хочется, чтобы меня здесь не было? Чтобы я сам добился, уехал на фронт? Скажи, я сделаю, что ты скажешь! Ну?!

Тезада пристально вглядывается в его лицо, пытается прочесть в темных зрачках то, что осталось недосказанным, качает головой.

— Ты отвергаешь меня, потому что боишься! Просто боишься, что о тебе скажут в кишлаке! Для тебя — все в этом, в том, что о тебе будут думать!

Улыбка скользнула по губам женщины:

— Неужели ты так глуп?

— Что?! — переспросил Зариф, но тут же взял себя в руки. — Тогда слушай, я скажу все, что о тебе думаю, — голос его зазвенел. — Ты никогда не любила меня. Да, не любила, теперь я знаю это точно. Тебе просто казалось, что ты любишь, начиталась книжек и придумала для себя, а на самом деле ты только о себе думала! Да, да, да! Кто любит, не боится, не думает, что скажут. «Не наступай на мою тень!» — «Не приближайся ко мне!» — «Не хочу дышать одним воздухом с тобой!» Что ты хотела этим сказать? Оскорбить меня при всех?! Да плевать мне на то, что про меня будут думать, ясно тебе?! Скажи, нет, ты мне скажи, что я тебе сделал? Чем провинился перед тобой? Тем, что люблю тебя, хожу за тобой, как собака? — голос его задрожал. — Эх, Тезада, Тезада! Если бы ты знала, сколько раз клялся себе: все! хватит!.. А как увижу тебя — не знаю, что со мной, ноги сами к тебе несут... И ты! Ты тоже ведь... видишь и чувствуешь это, играешь со мной: говоришь одно, а глаза издеваются, смеются, зовут: смелей, смелей. А когда одни на улице встречаемся — вспомни, как дрожит твой голос... Зачем же ты так? Подумай, ведь один раз в этом мире живем, если любишь — зачем мучить себя и меня? Ты знаешь — похоронок зря не приходят, я уважал твоего мужа, мы даже когда-то дружили в юности, потому-то я и не приезжал сюда столько лет, но теперь его нет, он умер, а ты заслонилась его тенью и думаешь, что так и должно быть, не можешь понять, что годы идут... через несколько лет и ты, и я будем уже не те. Я не могу и не хочу, чтобы ты погибла ни за что ни про что! Посмотри на себя в зеркало — ты создана не для того, чтобы ходить за плугом, ты создана, чтобы сделать счастливым меня! Счастливым, понимаешь ты или нет!..

Заур поднимается с земли. Он уже не в силах слушать эти голоса. Медленно, медленно спускается он по едва видимой тропинке, забыв, что там, возле пещеры его поджидает друг. Вдруг какая-то мысль приходит ему в голову, он останавливается, раздумывает несколько секунд, поворачивает назад и бегом припускается наверх...

— Ти-му-ур!

— Чего орешь? — услышался знакомый голос из-за огромного в целую скалу валуна. Заур обошел его кругом и оказался на маленькой ровной площадке, посреди которой дымил костер.

— Ружье принес?

— Где патроны? — не отвечая ему, резко спросил Заур.

— Что?

— Патроны где?

— У меня, вот, — вытащил из-за пазухи несколько гилла Тимур, — а где ружье?

Но Заур вместо объяснения выхватил из его рук два патрона и бросился назад.

— Стой, ты куда? — кинулся за ним Тимур, но Заур уже несея под гору, инстинктивно, чутьем выбирая ровную дорогу. Вначале он слышал за собой топот ног друга, но вскоре все стихло, только ветер завывал в ушах от быстрого бега.

Во дворе никого не было. Стараясь не шуметь, Заур скользнул в дом и снял со стены тяжелое ружье. Потом патренированным движением отщелкнул предохранитель и, загоня патрон в ствол, почти бессознательно зашептал непривычные для его языка слова древнего обряда:

— Поражу в сердце врага своего... метким... будь...

— Заурджан, внучек, что ты делаешь?

Он резко обернулся и прямо посмотрел на бабушку,

которая стояла в дверях и держала в руках касу с кислым молоком.

— Дай мне ружье,— мягко сказала она и вытянула вперед свободную руку.

«Нет. Ни за что!» Никакая сила бы сейчас не смогла отнять у него грозное оружие. Заур отступил к стене и прижал ружье к груди.

— Не отдам.

— Ну, как хочешь,— сказала бабушка дрогнувшим голосом и, не спуская с него взгляда, села на сундук справа от двери, возле самого окна.— Пожалуйста, не отдавай... Ты — мужчина в доме... Но — сядь сначала и выслушай меня, старуху, а потом поступай как знаешь, как повелит твоя совесть.

Заур молчит, но не двигается со своего места, только плотнее сжимает губы.

— Ты хочешь убить бригадира?

Он вздрогнул, но не отвел взгляда, наоборот, сильнее сжал руками отцовское ружье.

— Что же, может быть, ты и прав,— тихо сказала бабушка, ставя касу с молоком на подоконник и накрывая ее полотенцем.— Наверное, на твоём месте каждый мужчина поступил бы именно так, а ведь ты уже настоящий мужчина! Так? Так... Но... не перебивай меня, — сказала она резко, заметив его нетерпеливое движение. — Убить человека хочешь, а послушать меня, прожившую семь десятков лет, терпения не хватает!..

— Я слушаю, — глухо сказал он, подвинул к себе табуретку и осторожно сел на краешек.

— Значит, ты решил во что бы то ни стало рассчитаться с Зарифджаном, решил застрелить его из ружья твоего отца, так?

Он снова ничего не ответил, только дернул правым плечом, точно отгоняя назойливую муху.

— Но, внучек мой, все ли ты обдумал, все ли пос-

ледствия предусмотрел? Если уже не хочешь думать о том, что ружье это никогда в человека не было даже направлено, не то что бы выстрелило, ну да ведь это для тебя совсем не важно, так? Тебе важно сейчас пойти и застрелить бригадира. Но ты подумал, в кого ты будешь целиться, кого ты сначала убьешь? Нет? Ты думаешь, что перед тобой Зарифджан будет стоять? Его ты убьешь?! Не е-ет, мой дорогой, мой бесценный, не в бригадира ты хочешь выстрелить, мой соколочек! Ты в сердце матери своей целишься, ее хочешь убить...

— Что ты такое говоришь, бабушка?!

Заур, оглушенный, не знал, что ответить на ее слова. Тихо и как-то убаюкивающе печально звучали слова бабушки:

— Одиноко птице без своего гнезда, одиноко женщине без мужчины, без любимого человека. Тебе сейчас многое из моих слов покажется неубедительным, но и ты вырастешь, сам испытаешь, поймешь, что от любви не бегут, она — как огонь. Попробуй, погаси огонь! Силы много для этого нужно, а твоя мама — женщина, молодая женщина и к тому же очень красивая. Разве можно, чтобы красота угасла от горя? Пожалей ее, Заурджан. Не мешай. Придет время — она сама решит, что ей делать, какой путь выбрать. И если найдёт нужным, поверь, она сама справится со своей болезнью, если тот, кого она полюбила — человек недостойный. А если он достойный, если он принесет ей счастье — не становись между ними.

— Я... я хочу... нашу честь...

Лицо Заура исказилось, слезы снова потекли по его щекам:

— Ведь папа... он... как она могла!.. Я.. должен, должен за него...

Но чем больше он хотел сказать, тем меньше уверенности было в его словах.

— Мужчина должен быть не только смелым, но и мудрым. Я не могу тебя заставить быть мудрым, подумай и реши — что ты должен сделать! Как решишь, так и будет.

Она замолчала. Заур сидел, опустив голову. Разные чувства будоражили его душу: он сознавал, что бабушка права и в чем-то неправа, но и он тоже в чем-то прав, а в чем-то неправ. Как же теперь разобраться в этом, как выбрать правильное решение, поступить мудро?

Чистый пол смотрел на него цепочкой торопливых пыльных следов от двери до стены. Заур поднял глаза на то место, где висело ружье.

— Давай повесим его на место?

Мягкий голос вернул его к действительности.

— Нет! Не отдам! Ни за что! — дернулся было Заур, но тут же обмяк, выпустил ружье из ослабевших рук.

... — Эх, когда мы, наконец, станем большими? — вздыхает Тимур, натягивая свой лук и прицеливаясь в старую шапку на камне метрах в пятнадцати.

Заур последил за полетом стрелы и, усмехнувшись, бросил коротко:

— Мазила! Сначала стрелять научись, а потом и...

Стрела пересекла полянку и впилась в черный войлок забытой каким-то пастухом шапки

— Вот как надо! — засмеялся Заур, вновь натягивая тетиву. — Я, к примеру, не тороплюсь стать взрослым.

— Как это? — удивленно сдвинул брови Тимур.

— А вот так! — повторил Заур, посылая в цель стрелу за стрелой. — Не хочу и все... Эти взрослые... не поймешь их, что они хотят, что думают. Каждый любит давать советы, которые сам редко выполняет, зато

от тебя требует: «Учись уму-разуму, будь мудрым». А как стать мудрым, а? Знаешь ты, как?

Тимур растерянно пожал плечами, не зная что ответить. Последнее время с Зауром происходило что-то непонятное: стал раздражительным, все больше отмалчивается, бубнит под нос что-то. Или вдруг накричит ни с того ни с сего, повернется и, ничего не объяснив, уйдет. Вот и сейчас.

— Ты знаешь, почему это место называют пещерой Барсов? — спросил дружка Тимур, чтобы перевести разговор.

— Знаю, — коварно ухмыльнулся Заур. — Барсов тут полным-полно, даже на людей нападают. Вот и сейчас, сидит он где-нибудь рядом, наблюдает из-за кустов за нами и думает — кого бы съесть сначала, а кого — потом...

Глаза его вдруг округлились, он показал на что-то за спиной Тимура и закричал:

— Ой! . Смотри туда... крадется...

Тимур, спружинив, вскакивает на ноги и мгновенно отпрыгивает в сторону, боковым зрением стараясь увидеть опасность за своей спиной!

— Что! Что! Что там?!

— О-о-ха-ха-ха-ха! — падает на землю Заур и, держась за живот, начинает кататься по ней. — О-хо-хо-хо-хо! И он еще хочет быстрее стать взрослым, о-хо-хо-хо-хо!..

...Теплое утреннее солнце только-только выглянуло из-за горного колпака. Тезада захлопнула за собой жалитку и начала спускаться к роднику на склоне оврага возле старой одинокой урючины. Легкие шаги ее не пугают птиц, весело щебечущих по обе стороны узкой тропинки. Только когда она неосторожно оступилась, они с громким чириканьем взлетели на секунду-другую и рассыпались по кустам.

Тезада перехватила пустой кувшин в другую руку и, поправив косынку на голове, осторожно наклонилась над прозрачной поверхностью воды, замерла, глядя, как на самом дне пульсирует родник.

— Не видно тебя стало последнее время, милая! Ни тебя, ни бригадира! Говорят, заболел он? Или ты... а он возле тебя знахарствует, а?

Тезада подняла глаза на неестественно улыбающуюся Аминат.

— Опять ты за свое! — с досадой сказала она, погружая кувшин в воду. — И не надосст тебе, языку покоя не даешь.

Она выпрямилась и быстро стала подниматься вверх. Только потом, пройдя несколько шагов, она поняла смысл сказанного Аминат. Она остановилась, резко обернулась назад:

— Аминат, что ты там придумала? Кто болен? Что с ним?

— Не зна-а-ю! — засмеялась та в ответ. — Говорят, воздуху ему не хватает, а я... Эх, Тезада, измучила ты его, уехала бы куда-нибудь!

Давно прокричали первые петухи, а сон все не шел к Тезаде. Наконец, она не выдержала, бесшумно встала с постели, нашла в темноте свой большой, связанный свекровью из верблюжьего пуха платок и вышла во двор.

Было темно и душно, но она не чувствовала этого, наоборот — зябко передергивала плечами, кутаясь в платок.

Дом бригадира был на самом краю кишлака, и она почти бежала по темной узкой улочке, время от времени останавливаясь на секунду и прижимаясь к глиняным дувалам, в страхе, что ее кто-то увидит в такое время.

Слабый свет от окна освещал выступ маленького с глинобитными стенами дома. Тезада подкралась к окну, прижимая руки к груди и стараясь успокоить ухающее в бешеном ритме сердце.

Бригадир, закутавшись в тяжелое ватное одеяло, полужелал на широкой деревянной тахте, прислонясь к стене и устремив невидящие глаза в черный проем окна. Тезада испуганно отпрянула назад, и ей на миг показалось, что он видит ее и ждет. Ждет, знает, что она должна прийти, и вот она пришла.

Успокоившись, она снова приблизилась к окну: нет, он ничего и никого не видел, словно витал сейчас где-то далеко-далеко, в ином мире.

Теплая волна прошла по телу. Она вспыхнула при мысли, что через несколько минут войдет в этот дом, коснется этих родных небритых щек, и тихонько поскребла ногтем о стекло. Потом еще и еще, потому что Зариф ничего не слышал и не услышал даже тогда, когда Тезада отворила дверь и юркнула в комнату. Только когда она тихонько кашлянула, он будто очнулся, странно повел глазами, точно не понимая, где он находится и что с ним, несколько мгновений непонимающе смотрел на нее:

— Тезада! Ты?.. Ты... пришла?

Он верил и не верил своим глазам, высвободил руку, протянул к ней, словно желая удостовериться, что это действительно она — Тезада, его любимая...

— Сердце подсказывало, что ты обязательно придешь! — задыхаясь говорил он. — Не можешь не прийти, не можешь быть такой жестокой и равнодушной, ведь я тебя знаю, Теза-ада! Как ты мне нужна-а-а!..

Слова эти теплыми волнами ударялись в ее грудь, сладкой волной подкатывали к горлу. Ноги едва держали ее.

Все. Теперь она его увидела, услышала его голос, теперь нужно уйти. Уйти, чтобы...

Но не было сил, чтобы сделать к двери один-единственный шаг.

— Вот... зашла... дверь была открыта, потому я... мне сказали... я хотела...

Будто это не ее губы произносили слова.

— Подойди, пожалуйста! — все еще не опускал руки Зариф. — Сядь со мной, прошу тебя!

Тезада беспомощно оглянулась на дверь и послушно подошла к Зарифу.

— Не бойся, — усадил он ее рядом, — болезнь моя не заразная.—Тезада слабо улыбнулась: при чем здесь это!

— Когда свадьбу играть будем? — голос Зарифа обретал силу.

— Какая свадьба, о чем ты говоришь? — испуганно отшатнулась от него Тезада, хотя почувствовала при этом, как снова сладко заняло сердце.

— О нашей с тобой; свадьбе, милая моя Теза! — тихо проговорил Зариф, словно вслушиваясь в свой голос...

— Не надо об этом, — тоже тихо попросила его Тезада. — Война идет, а ты о свадьбе! Что люди скажут?

Она говорила это и сама чувствовала, что говорит не то... не то... не то! Она любит, и ее любят, так почему же, почему она сопротивляется своему желанию? Неужели ее действительно волнует, что о ней скажут в кишлаке?!

— Война, война! — раздраженно заговорил Зариф. — По-твоему, во время войны люди любить не могут, не женятся, женщины рожать перестают, так, что ли? Годы, годы, годы... это твоя и моя жизнь, так почему мы должны отказываться от своего счастья?!

Тезада молча, точно не понимая, в чем ее обвиняет Зариф, смотрела ему в глаза и думала, думала, думала.

Она хотела, ох, как хотела, чтобы все было, как

он говорит. Ведь он прав, во всем виновата она сама. Виновата, что так сложилась ее жизнь; виновата, что вышла замуж не любя. Сейчас она вспоминала, как в первую брачную ночь с содроганием ожидала первого прикосновения Камболата, как сжав зубы, терпела его ласки. Боялась, что в один прекрасный день не выдержит. Разве могла она признаться, что, ложась в постель с одним, точно молитву, шепчет имя другого. А когда отяжелела, поняла — все! Прошное не вернуть. Поняла, и даже легче как-то стало, привыкать начала к своему положению. Но родился сын, и затосковало женское сердце. Свекровь почувствовала неладное с невесткой: «Смотри, дочка! Большой грех на душу возьмешь, а у тебя сын растет. Подумай о нем...» А тут война. Встретила ее спокойно. Но когда пришла похоронка с фронта — оборвалось что-то внутри.

Камболат, временами ей казалось, что он все понимает, догадывается о ее второй, внутренней жизни. Догадывается, но молчит. Часто ловила на себе пытливый, пронзительный взгляд мужа, хотела признаться во всем... и не могла. В последний момент не хватало решимости, и вот — война.

Нет Камболата, но осталась вина перед его памятью. Его нет, а она жива, она рядом со своим счастьем... Но почему нет радости в душе? Почему она боится?

— Кого ты боишься? — словно прочитал ее мысли Зариф. — Свекрови своей? Сплетен старух? Так мы уедем отсюда. Далеко! О сыне не беспокойся, заберем его с собой. Ну? Не молчи, решай.. я жду, Тезада!— Он замолчал, сжал ее холодные ладони. — Или совсем не любишь меня, скажи? Не бойся, я... посмотри на меня, неужели тебе не страшно остаться одной? Тезада, пойми меня.. я хочу, чтобы ты была со мной, чтобы ты была всегда красивая, чтобы люди любовались тобой! Я хочу постоянно видеть твои глаза!..

Тезада опустила глаза. Она боялась слушать его

голос, который проникал в душу, волшебными сетями опутывал волю и не давал сосредоточиться. Боялась, но слушала, жадно впитывала в себя чудодейственные звуки.

— Ты знаешь, что из-за тебя мы стали врагами с Камболатом. Ведь он украл у меня тебя, Тезада! Украл! — жадно прильнул к ее ладоням Зариф, целуя тонкие огрубевшие пальцы. — Я люблю тебя, люблю! Я, как и все, хочу счастья, ведь все... каждый человек мечтает о счастье.

— Не каждый, — тихо сказала Тезада. Так тихо, словно говорила только для себя

— Кто не хочет счастья? — вскинулся Зариф. — Ты свою свежую кровь имеешь в виду? Не надо, не надо, милая моя Тезада! Она свое отжила. Эта женщина — камень, старый камень посреди дороги, который остался после Ноева потопа, из него и искры не выбьешь, но ты...

Он вдруг откидывает одеяло, тянет ее к себе.

— Может, ты боишься, что я больной?.. Думаешь — туберкулезный, не жилец на этом свете? Так я хочу сказать... только тебе... я еще многих переживу... и не боюсь тебе признаться в этом, потому что люблю тебя, потому что знаю — теперь ты моя, только моя!

— Не понимаю, о чем ты говоришь?

Она напряглась, исподлобья испытывающе посмотрела ему в глаза.

— Не так уж я болен, как тебе кажется, — засмеялся Зариф. — Так что вдовой тебе второй раз не придется остаться.

— А.. как же?..

Тезада умом еще не осознала, что произошло, но сердцем, душой почувствовала — случилось нечто страшное! Она хотела вскочить, убежать подальше, успокоиться, чтобы ничего не знать, не слышать. Хотела, но не могла.

— У меня было небольшое пятнышко, — спокойно,

сквозь смех продолжал рассказывать Зариф, глядя на нее невинными глазами. — А главврач — мой родственник, он и освободил меня от призыва как тяжело и неизлечимо больного, а потом отправил меня сюда. Вернее, я сам попросился в наш район. Вот так-то, Тезада, теперь ты знаешь все.

Последние слова будто оглушили Тезаду. «Нет, нет, нет! — кричало в ней. — Он не мог! Он не такой! Он просто придумал все это, чтобы проверить ее!»

— Не может быть, — выдохнула она с силой.

— Пойми, я же... ради нашего счастья, — шепло забормотал он, но тут же продолжил со злостью. — Я хочу жить!.. Для тебя, для себя... для наших детей! Что мне и тебе до этой проклятой войны!

— Уйди! — с отвращением отпрянула от него Тезада.

Зариф снисходительно скривил губы. — Куда же я уйду?

— Куда хочешь! Значит, ты... в то время, когда все... ты свою жизнь спасаешь? — говорила она, с трудом унимая в голосе дрожь. Обида, разочарование, боль — все в эту минуту перемешалось в ее душе. — Когда Камболат, Хамид... когда умирают тысячи...

— Перестань! — крикнул Зариф. — Камболат, Хамид! Что тебе до них?! Ты ведь меня любишь, меня!

— Трус! Трус! Трус! — Слезы брызнули из ее глаз. Она вскочила, кинулась к двери, но Зариф метнулся за ней, поймал за руку.

— Оставь меня! — с силой оттолкнула его Тезада, дернула дверь, замерла на мгновение на пороге. — Если ты... завтра же... я всем расскажу, слышишь? Всем! Не жить тебе здесь, уходи!

...Промелькнула осень. За ней зима... Снова солнце разогнало тяжелые пасмурно холодные тучи над горным кишлаком. Склоны украсились цветущими урючинами и

яблонями. Запестрели на полях платки женщин. Весна как весна, все вроде бы как и прежде, но что-то неуловимо изменилось: в яркости цветущих фруктовых деревьев, в ароматном воздухе, в смехе девушек...

— Мой Хамид в Венгрии теперь, — говорит одна из женщин, глядя на подруг. — Пишет — победа скоро: жди домой.

Она задумывается на мгновение. Тень пробегает по ее лицу.

— Сколько от Венгрии этой до Берлина-то?

— Не так много, наверное, — говорит кто-то, — пишет ведь, что скоро домой жди...

— Смотрите, Сафар к нам идет, — сказала Аминат, глядя на дорогу.

— Председатель с ним.

— Чего это они машут?!

Женщины медленно, но потом все быстрее и быстрее выбирают на дорогу.

...Сафар семенит, едва поспекает за председателем. Лицо его покраснело от возбуждения и быстрой ходьбы. Время от времени он дергает председателя за рукав, умоляюще говорит ему:

— Уважаемый, прошу вас... позвольте это сделать мне! Ведь я...

— Ах, Сафар-ака! Я же объяснил вам: это такое дело! Нельзя его просто так... Понимать надо!..

— Прошу вас, столько лет я... вестником печали стал! Со мной здороваться даже перестали... Неужели вы не можете меня понять?!

— Ладно! — сдаётся председатель. — Вы, Сафар-ака, только постарайтесь так поторжественней! Громко! Чтобы все... такое дело ведь событие мирового значения!

Они остановились возле хирмана, поджидая спешащих к ним со всех сторон женщин и девушек.

— Спасибо вам! Огромное вам спасибо! — почтальон со слезами на глазах тряс руку председателя.

Плотная толпа окружила их, закидывая вопросами:

— Что случилось?

— Сафар-ака, скажите...

— Товарищ председатель...

— Люди!.. Сестры мои!..

Все замолчали, застыли в ожидании, глядя на почтальона.

— Прошу вас, простите меня... вдовы, одинокие матери и бедные сироты!.. Я..

Слезы текли по его лицу, но он и не пытался скрыть их. Голос его вдруг перешел в крик:

— Конец!.. Война кончилась, дорогие мои-и-и!.. Я больше никогда... никогда не буду... носить...

Председатель оттесняет его, пробует что-то сказать, но его уже никто не слушает. Радостные крики несутся над полем. Все устремляются к кишлаку. Бегут, словно сейчас, сию же минуту, после вести о победе явится чудо, все станет, как прежде. Словно дома их уже ждали мужья, братья, сыновья...

... И еще хочу сообщить тебе, дорогой папа, чтобы ты не беспокоился. Мама уже начала поправляться, бабушка говорит, что скоро она совсем выздоровеет. Если ты помнишь нашего почтальона Сафара, то он умер. Папочка, мы так по тебе соскучились, и мама, и бабушка, и я. Приезжай быстрее, я покажу тебе, как и все делаю по дому. Бабушка говорит, что я стал совсем взрослым, настоящим мужчиной, потому что теперь и плуг стал слушаться меня. Но все равно, нам очень не хватает тебя. Приезжай, пожалуйста, наш дорогой, любимый наш папа, мы все очень ждем тебя! Крепко тебя целую твой сын Заур».

Большая лохматая туча на мгновение закрыла луну,

но тут же, будто испугавшись, пропустила ее сквозь себя и поплыла прочь. И снова небо над горами стало чистым, бездонно-звездным, убаюкивающе-манящим.

Заур задумчиво смотрит в окно на освещенную лунным светом пыльную дорогу, которая вьется, поднимаясь в горы, и через перевал бежит далеко-далеко... в большой мир, неведомый пока, но ожидающий его. Он складывает письмо в треугольник и выводит адрес:

КРАСНАЯ АРМИЯ.
ГЕРОЮ КРАСНОАРМЕЙЦУ
КАМБОЛАТУ МАМАТОВУ

А луна заглядывает в дом через открытое окно, и будто не было на земле войны, не было разрушенных городов, не было похоронок.

ЗНОЙНАЯ ПОРА

Посвящую Ольге Ипаговой

Июль обрушился на город раскаленным солнцем, гарию, выжженным зноем торфяных болот, душным голубым маревом над закованной в асфальт землей. Ночи не приносили прохлады — воздух только изредка освежали запахи привялых трав и речной сырости, что приносил в город ветер, лениво ползущий в жадно открытые окна и двери.

Каримов посмотрел на часы. День казался бесконечным. Огромный цех не спасали от жары ни вентиляторы, ни вазоны с цветами, ни голубая, «прохладная», окраска стен, и рабочие то и дело уходили «покурить», на самом же деле забегали в душевую и ныряли в вялые, тепловатые струи воды, льющиеся из-под потолка. Сам Каримов дождался обеденного перерыва, чтобы пойти в душевую.

— Рустам Садыкович, извините. Я опять к вам!

— Что такое? — голос Каримова прозвучал сухо. Глядя на Топорькова, молодого рабочего из бригады Романчука, он всегда испытывал смешанное чувство неприязни и удивления, а сейчас вспомнил, что еще два дня назад обещал Романчуку написать характеристику на Топорькова, и мысленно чертыхнулся.

— Ну, пошли! Да на ноги, на ноги не наступай!

Топорьков действительно рванулся было вперед, — длинноногий и упругий, он не рассчитал шаг и врезался в мастера, — и Каримов, болезненно поморщившись,

пошел в свою каморку мастера рядом с табельной, удивляясь своему упорному нежеланию писать характеристику именно на Топорькова, веселого, разбитного малого, который именно этой веселостью и беспечной снисходительностью снискал себе завидные лавры в сфере общественной деятельности, которой он, по существу, и не занимался.

— Учиться хочешь? — не поворачивая головы и не глядя на поотставшего Топорькова, спросил Каримов.

— Ученье—свет!—нагнал его и пошел рядом Топорьков. — Завещание сие мы должны претворять в жизнь.

Топорьков подобострастно заглядывал ему в глаза и улыбался.

— Куда надумал, если не секрет?

— Никакого секрета, — точно засветился весь Топорьков. — Батя мой мозгует. Шпалы прокладывает. В архитектурном у него дружок. Кафедрой заведует. Обещал помочь.

«Помочь!» Каримова передернуло. Он резко остановился и сказал:

— Ты вот что. Зайди ко мне после работы...

Собственно, что его возмущает? Чем ему плох Топорьков? Работает, как и многие, нормально работает. Вот учиться хочет, так за это хвалить надо, поддерживать.

Каримов будто уговаривал себя, отчего досада поднималась в нем еще больше. Вспоминалась характеристика, которую ему написали по окончании десятого класса. Стандартная, как у всех. Двадцать восемь характеристик, — а ведь это двадцать восемь разных характеров... Личностей!..

Каримов неожиданно для себя оказался у дверей инструменталки. И тут только вспомнил, что ему очень хотелось увидеть Трофимыча. С самого утра. За делами забыл, и вот ноги сами принесли его к складу. Он улыбнулся, глядя на новенький, сверкающий маслом

замок; дернул за ручку двери. Замок от колебания качнулся и глухо ударился о жесть, которой была обита дверь. Его мать не особенно жаловала замки. Рассказывали, что о замках в ее молодости и не слыхивали. Калитку замыкали цепочкой. «Кому нужно будет попасть в дом — замок не удержит. Замок только для честных людей», — говорила она часто.

— Что-то ему нужно было от Трофимыча?

Усмехнулся. Поговорить захотелось...

Впрочем, чему удивляться? К Трофимычу всегда идут. Весь завод, кажется, знает его. Что людей так притягивает к нему? Посмотреть, так ничего особенного.

Представил себе Трофимыча: маленький, заморенный, с черными прогнившими зубами, вспомнил, как тот сам говорил по этому поводу: «Там, где я их оставил, зубы-то, они не очень нужны были...» И посмеивался при этом. Грустно. Одними губами. Глаза же... Вот именно, глаза... темные, пронзительные, с какой-то затаенной болью, именно про такие глаза говорят, что они не могут обмануть. И забыть их тоже нельзя. Вспомнился день, когда первый раз увидел Трофимыча. Где это было? В столовой. Точно. Лет десять, наверное, прошло. Он тогда впервые пришел на завод, первый рабочий день после окончания института.

Они оказались за одним столом. Стыдно сейчас вспомнить, но тогда он так поразился, что такой маленький, чуть повыше подростка, человек заставил почти весь стол едой. Не выдержал и присвистнул:

— Отсутствием аппетита, отец, вы не страдаете!

— Удивляешься, сынок? — на Рустама глянули виноватые глаза.

Рустам пожал плечами, недоумевающе оглядывая стол. Чего только не набрал его сосед: суп, двойное второе, холодное мясо, салат, коржик, молоко, чай...

— Разве это аппетит? — сказал смущенно Трофимыч. — А если честно, — продолжил Трофимыч, — и

самому неловко. Дело прошлое, как говорят теперь, пришлось мне побывать в таких местах, где только и мечтал, как бы получше набить желудок. Получше и побольше. С того времени у меня и осталось, все есть хочется!

Каримов вспомнил, как неуютно чувствовал себя во время этого разговора, а когда Трофимыч замолчал, как ему стало вдруг стыдно. Стыдно за себя, за свои слова, за свое здоровье. А Трофимыч ел, низко склонившись над тарелкой с супом, и не замечал ничего или делал вид, что не замечает. С того дня они стали здороваться. В столовке он, если оказывался впереди Трофимыча, брал обед на двоих. Когда же Трофимыч перешел в РМЗ, где работал и Рустам Каримов, и вовсе подружились. Вернее, Рустам привязался к нему, частенько забежал на склад выпить чайку, рассказать заводские новости. Как-то, помнится, в пылу откровенности признался Трофимычу, что тот всем своим видом, тем, как держит себя с другими, как говорит, очень напоминает горьковского Луку. Трофимыч ничуть не удивился такому сравнению:

— А что ж, может, и Лука, — сказал он, глядя в глаза Рустаму. — К Луке люди ходили, души свои облегчали, искали совета. Любое слово хорошо, если помощь от него, если веру дает.

— Ну, а как не поможет? Не поможет слово! — пробовал возразить Рустам. — Если разочарование? Ведь не всегда все так, как мы хотим и ждем. Подумать и заставить человека поверить в это — несложно, больше натиска и мягкости, но что потом? Верил, ждал, жил мечтой — и вдруг ничего! Как после этого? Ведь страшно!

— А ты придумай, чтобы «после» не было. Чтобы хорошо было надолго, — отвечал с улыбкой Трофимыч.

«Вот и мне утешитель понадобился, — подумал Кари-

мов, вспомнив, как, идя на завод, думал о Трофимыче, хотел быстрее увидеть его, выплеснуть перед ним наболевшее. Многие хотели рассказать, и вдруг оказалось, что рассказывать-то нечего. Нечего!

.. Валентина мыла посуду. Горячая струя с силой била в дно раковины, поднимала клубы пара, который обволакивал ее руки и лицо.

— Я... я не могу! Неужели ты этого не понимаешь— говорила она прерывающимся голосом. — Ты знаешь, как мне было трудно в первый раз. Помнится, тогда решили — все! Да и с Владькой намучилась вдоволь! Сколько же можно! Вырастить одного — сколько нужно и нервов, и времени, а я еще жить — ты понимаешь! — жить хочу! Надо же и нам, нам пожить!

«.. Нам пожить!.. Нам пожить!..» — каждая буква, каждый звук молоточком отбивал в голове фразу. Каримов смотрел на жену, сознание его автоматически воспринимало то, о чем она говорила в эту минуту, а сам он смотрел на ее руки в тонких резиновых перчатках, па чашки, тарелочки, золоченые чайные ложечки, которые искрились в лучах яркого утреннего солнца, на белое льняное полотенце, перекинутое через плечо. Валя любила красивую посуду. Чайный, столовый, кофейный — все сервизы отличались необыкновенной дороговизной и были, по словам Таисии Петровны, украшением жилища людей с тонким вкусом. Мыла посуду Валя всегда сама, никого не подпускала к щеточкам, щеткам и уж, конечно, к самой посуде. И сейчас она не забывала по нескольку раз, слегка отстраняясь и вглядываясь, протирать узорные каемочки на чашечках и блюдах. Движения рук ее, ловкие, отработанные и в то же время необычайно осторожные, почти нежные, убаюкивали, притупляли сознание. Только пальцы, обтянутые резиной, вдруг теряли свою слаженность, замирали на мгновение, начинали дрожать, и становилось ясно, как трудно дается Валентине это кажущееся

спокойствие. Он смотрел на мутные капли воды, стекающие с углов раковины, и молчал. Говорить не хотелось, не было сил. И что он мог сказать? Все понятно без слов, что можно было — давно выговорено. Не хочет она второго ребенка — и все. Как просто! Вспомнились слова Таисии Петровны, которые она любила повторять, когда заходил разговор о том, стоит ли иметь двух детей: «В наше время один ребенок — подвиг, а вам еще жить надо». Жить надо. «Вот откуда эти слова, — усмехнулся Каримов. — Конечно, — пробовал он оправдать жену, — один ребенок — это хорошо, никаких хлопот... но вдруг!.. Вдруг случится что! Потом поздно, поздно будет исправлять!»

Эх, Валя! Он с ужасом вдруг подумал о том существе, которое уже жило в ней. Ведь это ... его ребенок! Его и ее!

Каримов закрыл глаза. Вспомнились бессонные ночи того года, когда родился Владька. И вновь мелькнула мысль: может, и права Валя? Сколько нервов стоили те первые месяцы. Они учились на четвертом курсе. Четвертый курс, для него он был предпоследним, самым тяжелым, а с рождением Владьки стал еще тяжелее. От постоянного недосыпания они оба осунулись, на Валентину нельзя было смотреть без жалости, она похудела, побледнела. Засыпала на ходу. Пришлось ей взять академический отпуск, он не возражал: видел, как ей трудно.

И он понимал: сегодняшняя ссора — повод, чтобы высказать друг другу затаенное, что тщательно оберегалось каждым из них, потому что не сказанное ведь как будто не существует, в то время как слова, высказанные друг другу, будут иметь значение свершившегося.

«Ведь я знаю, знаю, что ты можешь сказать мне, — думал он, стараясь не встречаться с ней глазами. — Что я безвольный человек, который обманул твои ожи-

дания, который мог бы сделать тебя женой не заурядного инженера, как это на самом деле произошло, а чем-то гораздо более значительным, что соответствовало бы желанию твоих родителей, которые имеют деньги, но у которых нет блеска известности. Конечно, Таисии Петровне было бы лестно принимать у себя будущее светило науки, его друзей и, скромно обставляя стол (ну, скажем, — импортным хрусталем, диковинными бутылками из магазина «Березка»), как бы подчеркивать, что мол, «и мы, люди вроде незначительные, но жизнь понимаем». Я лишил ее возможности скромно опускать глаза, подавая гостям на стол сногсшибательную закуску. И я понимаю, все ее ухищрения можно демонстрировать и сейчас, но в своем кругу это не так интересно, серо, пресно, и все же главное не в этом. Тебя — вот в чем моя вина, которую ты мне не можешь простить, — тебя я лишил возможности чувствовать себя «светской дамой», иметь избранный круг друзей, умных поклонников. Если бы я стал выдающимся ученым, ты могла бы и не работать... Ты и сейчас можешь не работать, твои папа с мамочкой всегда поддержат свою единственную дочь, да и я... не так уж много, но все же зарабатываю. И все же не это тебя останавливает: что скажут люди? Как объяснить, почему ты, жена рядового инженера, можешь не работать? А сложись твоя жизнь по-твоему, все было бы само собой разумеющимся: прелестная, любящая супруга, розовая, как цветок (конечно, недавно была ванна, массаж и черт-те что еще...), встречает усталого мужа... А теперь ты, участковый врач, после приема делаешь обходы и, взбираясь по этажам, выслушиваешь укоры за опоздание, заглядываешь в горло, измеряешь температуру, выписываешь очередное лекарство ворчливому больному, который лучше тебя знает, как и чем лечить...

Да, я очень хочу иметь еще одного ребенка. Я без-

надежно сентиментален, люблю смотреть индийские фильмы, что тебя всегда очень раздражало и раздражает по настоящее время. Я люблю, когда в доме слышится визг и смех, когда нет стерильной чистоты, когда ты не боишься сделать что-то не так, садишься где хочешь и как хочешь. Я хотел бы увидеть Владьку таким сорванцом, нежели каким вижу его сейчас: чистеньким, всезнающим и всеслышающим мальчиком с манерами барчука... Я хотел бы, чтобы ты любила свою работу: не любишь лечить — работала бы... ну, хоть лифтером... только бы не было у тебя этой всевозрастающей усталости, брюзгливости. Я хочу... видишь ли Валюша, это все можно продолжать до бесконечности. Я — тебе, ты — мне. Претензий друг другу можно предъявлять сколько угодно. Но я боюсь, — понимаешь, боюсь! — пропасти, которая может навсегда отделить нас друг от друга, потому что я даже не представляю себе...»

— Ты что же, не хочешь со мной говорить? — врезался в мысли голос жены.

Каримов встал, подошел к раковине, закрыл кран с горячей водой, открыл холодную, припал к ней губами, намочил лицо. Наконец поднял голову и посмотрел на жену. Встретился с ее глазами и замер: столько горечи, ненависти даже, было сейчас в ее глазах.

— Валя, что ты!.. — шагнул он к ней, но она отшатнулась, как от чего-то мерзкого.

— Уй-ди-и! На-до-ел! — закричала она. — Оставь ты меня, бога ради-и-и!..

Каримов торопился.

С трудом дождался конца рабочего дня — и вот! В самый последний момент вспомнил про злополучную характеристику.

Каримов не обманулся в своих опасениях. Топорьков

ждал его у проходной. Как всегда, небрежно-элегантный, в лиловых с белыми разводами джинсах, в туфлях на высокой платформе, он, увидев Каримова, подался вперед, точно боясь, что мастер не увидит его.

— Вот. Отдай там, чтобы перепечатали, — сказал Каримов, протягивая ему характеристику.

Топорьков быстро пробежал глазами каракули характеристики, звонко щелкнул пальцами.

— Спасибо, Рустам Садыкович! — просиял он и подчеркнуто галантно склонил голову. — Человечество оценит ваш труд и... кстати! Прошу, машина ждет вас!

Каримов повернулся и увидел «Жигули» Романчука.

— Как это ты успел... устроить?

— Долго ли умеючи! — довольно засмеялся Топорьков.

Улыбка его была неожиданно мальчишеской, словно озорной, и Каримов, садясь в машину, подумал, что он; в сущности, несправедлив в своем отношении к парню, у которого, по словам Романчука, «руки умнее головы». Топорькову и впрямь металл будто подчинялся, детали выходили у него не просто аккуратными, а изящными и словно одухотворенными. Впрочем, так же легко давалась его рукам любая работа, и Каримову иногда казалось, что именно эта легкость и портит парня, отнимая у него радость преодоления, и потому он, Каримов, может и должен напоминать, хотя бы иногда, что жизнь — штука не простая. Теперь же ему пришло в голову, что, может быть, он бессознательно завидует силе жизни, которая ощущалась в Топорькове, правда, силе стихийной и неорганизованной.

— Зачем же тебе институт, ты хорошо знаешь? — спросил он немного погодя, когда «Жигули» плавно обогнали заводской автобус, вышли на широкую оживленную улицу.

Топорьков, который с интересом вглядывался в дорогу, с готовностью обернулся.

— А вы разве не знаете, Рустам Садыкович, для чего идут в институты?

Топорьков смотрел жестко и чуть презрительно, но губы его оттопырились, как у детей, наблюдающих, как другие насаживают на булавку бабочку или жука.

— Я хочу быть счастливым. Мы, молодые, должны брать жизнь за рога, должны жить так, как хочется, а не так, как складываются обстоятельства, — вы ведь вечно на них жалуетесь. В вашем возрасте я буду точно знать, чего хотел и что смог.

— Вот видишь, ты уже говоришь — «что смог». Значит, ты не надеешься смочь все, что захочешь? Да и что это значит — быть счастливым? Ты говори конкретнее! Что тебе для счастья нужно? Деньги, положение, слава? А может быть, любовь?

— Мне все нужно! Все!

— Не тяжело будет? — усмехнулся Романчук, ровно и аккуратно ведя машину. — Можно и надорваться...

— Если будешь слабым.

— Как же ты хочешь иметь все вместе? Ведь за все нужно чем-то платить, так просто это не дается, — сказал Каримов.

— Вы мне еще про душу начните говорить. Старо! Сейчас век разума. Человек все может, от него самого зависит, чего он добьется: от его силы, напора, ума. Это неудачники все о душе толкуют.

Каримов почувствовал, как в груди его остро и больно кольнуло, и он неожиданно для себя тронул за плечо Романчука:

— Ты куда везешь?

— Домой, куда же еще? — удивился Романчук.

— Но мне... — Каримов замялся. — Мне... на вокзал надо! Да, вот именно, на вокзал! Казанский, пожалуйста, если тебе не трудно!

Романчук кивнул. В машине стало тихо.

«На Казанский, — думал Каримов. — Давно я там

не был... как давно! А когда-то знал там каждую скамейку... Время еще есть, побуду с часик, и с вокзала сразу в сторожку». Он улыбнулся, представляя себе маленькую комнатку в закутке почтового отделения, облезлый диван довоенного вынуска, телефон на старом скрипучем столе возле окна. Два раза в неделю он не поует дома. Дома! Опять дом, а где он, этот дом его? Вспомнились слова Таисии Петровны, когда он вернулся в Москву после похорон матери: «И забудет он отца и мать... и приленится к жене своей... и станут они оба одно целое...» — в шепот причитала она, успокаивая его. И он забыл. Забыл! Все забыл!

Но тогда это казалось не таким страшным. Ему нравилось ощущать заботу Валентины, Таисии Петровны. Нравилось спорить с Андреем Ивановичем, отцом Валентины, который работал директором комиссионного магазинчика. «Не ахти, конечно, — любил приговаривать Андрей Иванович в минуты откровенности, — но на хлеб с маслом хватит, если не хлопнуть ушами...»

Сам он «ушами не хлопал». «Папочка наш еще тот! — доверительно говорила и Валентина, когда Каримов впервые познакомился со своим будущим тестем. — Ничего для меня не жалест, главное, не перечить ему». И тогда он удивился, что такого особенного может директор «комиссионки». «Ну да! — смеясь, говорила Валья. — Где он только не работал: и замом в ГУМе, и директором магазинов в городе — нигде ему не нравилось, не задерживался долго, а в комиссионном уже почти десять лет держится и никуда уходить не думает».

«Не перечить, только не перечить», — часто вспоминались ему слова жены, но не перечить Андрею Ивановичу Каримов не мог. Вначале это происходило в форме шуточных баталий, понятно, словесных, а с годами стычки принимали все более резкий характер и в конце концов переросли во внутреннюю взаимную неприязнь.

Пробовали на Каримова воздействовать по-хорошему, ласково, отечески. И он сам пробовал отмалчиваться, отговариваться занятостью. Но родители Вали любили дочь, они часто, слишком часто приезжали в гости, а каждая встреча неминуемо приводила к столкновению.

— Вот, привезла вам подарочек,—сияя, доставала из сумки новенькую хрустальную вазу Таисия Петровна.— Посмотри, зятек, марка богемская! Знаешь, папа ее как увидел — сразу о вас подумал!

Валя бросалась на шею матери. Каримов уходил на кухню, чтобы не видеть ее откровенно счастливых глаз. Он догадывался — богемская ваза опять досталась Андрею Ивановичу по дешевке — то ли он нашел в ней какое-нибудь едва заметное пятнышко и тут же уценил вещь, то ли принесли ее с черного хода, оглядываясь и опасаясь, а потому не особенно настаивали на настоящей цене. Когда он пробовал отказываться, на него налетали все — и теща, и Андрей Иванович, и сама Валя; силы были неравные, а уйти, хлопнуть дверью Каримов мог тогда, когда его доводили, что называется, до белого каления. С молоком матери впитал он в себя, что, заводя семью, человек это делает однажды и навсегда, и теперь даже мысли о том, что сын его может расти сиротой, была ему невыносима. Он думал, как сделать так, чтобы ушло из семьи это чувство вины и несправедности всего происходящего.

Но молчание, а затем долгие разговоры с Валентиной не были выходом. Таисии Петровне нужно было полное и безоговорочное восхищение зятя, его смирение его готовность вносить и свою лепту, и она все настойчивее, так как это умеют делать лишь женщины, окружала его мягкой, но непроницаемой стеной. Молчание становилось обоюдным, ласковость Каримова наталкивалась на каменное сопротивление Валентины, и он, в свою очередь, становился резким и несправедливым, ему

не хотелось идти домой, и он искал предлог, чтобы прийти домой попозже.

Чувствуя себя виноватым перед Валентиной, по утрам он старался быть с ней особенно предупредительным, но Таисия Петровна быстро пресекла неповиновение зятя.

Проснувшись, Каримов увидел как-то сидящую против него тещу. Губы ее, слегка подкрашенные, улыбались, обнажая ровные искусственные зубы, но глаза были колючими и неприветливыми.

— Здравствуйте... мама, — с запинкой проговорил Рустам.

— Оденься, пожалуйста, я сейчас приду, — ровно и спокойно предупредила его Таисия Петровна, и Рустам засуетился.

— Конечно, конечно... Я сейчас... Я понимаю...

Он торопился, но руки у него дрожали, и носки пришлось надевать дважды — он не терпел неаккуратности, а они вначале оказались вывернутыми наизнашку, и когда вошла Таисия Петровна, уши у него горели, во взгляде была виноватость, которой, очевидно, ждала Таисия Петровна, потому что в глазах у нее мелькнуло удовлетворение и голос слегка смягчился.

— Ты ведь любишь Валечку... — усаживаясь, утвердительно проговорила она, и вместе с тем в ее словах чувствовался оттенок вопроса. Конечно же, ей хотелось услышать, как будет опровергать ее сомнения Рустам, и он стал горячо оправдываться:

— Вы еще можете спрашивать?!

— Могу, — скорбно и укоризненно заговорила Таисия Петровна. — Могу, и ты в этом виноват.

— Я... я понимаю...

— Нет, дело совсем не в том, что ты вчера выпил. С кем не случается! Дело молодое! Но если бы ты сделал это так, чтобы все было шито-крыто, чтобы никто ничего не узнал, — тогда я ни слова бы не сказала тебе,

пусть даже догадалась бы о твоей проделке. А так, посуди сам: ты уже перед распределением, от тебя зависит: либо тебя оставят в аспирантуре, либо придется идти на завод простым инженером, — она помолчала, выжидающе глядя на Рустама, видимо, ожидая его реакции, и, не дождавшись, продолжила: — Когда ты посватался...

«Посватался — какое смешное слово» — подумалось ему.

— Мы узнали в институте, что ты — человек серьезный, на хорошем счету, что тебя даже могут оставить в аспирантуре.

Вот оно что! Так, значит, они вначале о нем справки навели: кто, откуда, что можно ждать от него в будущем!..

— Но недавно Андрею Ивановичу сказали, что ты резко изменился, учиться стал хуже, и, если так пойдет, то...

«Да, это верно, что-то со мной случилось. Что случилось? Просто я ошалел от любви. Ничего в голову не идет, результат — две тройки на экзаменах. Но и Валя тоже, кстати говоря, сдала сессию не блестяще. Хотя Валя, — это, конечно, другое дело. Я мужчина как никак».

— ...вряд ли будущность твоя будет обеспечена.

— Что, я без аспирантуры с голоду умру? — Рустам сам не ожидал, что голос его прозвучит так вызывающе резко, и, поняв это попытался закончить как можно миролюбивее: — Наоборот, больше зарабатывать стану.

Усмешка скользнула по губам Таисии Петровны.

— Аспирантура — это как вклад на сберкнижку, — говорила она почти ласково, вкрадчиво, пронизывая его взглядом своих зеленоватых глаз, — и ценность ее не мерится сегодняшним днем.

«До чего паловчилась говорить! Прямо Цицерон в юбке!»

— Еще почти два года до окончания, что вы суетитесь инженер, инженер! Ну и что?

— Теперь, только теперь надо думать! Ведь ты здесь, в столице, останешься, где таких... с дипломами... хватает...

— Не знаю, останемся ли мы здесь, или решим с Валей поехать к нам, не знаю, — и он вдруг произнес мечтательно, — Может, все и к лучшему, не поступлю и аспирантуру, поедem мы с Валюшей в Узбекистан, а там, дома, что-нибудь придумаем.

— Никуда вы не уедете, — твердо отчеканила Таисия Петровна. — Вы там с голоду пропадете на какие-то двести рублей, да и не к такой жизни мы дочь единственную готовили, и сейчас ради нее готовы на все. Посмотри, разве на стипендию живут так, как вы? Пожалей бы нас, стариков: столько усилий, чтоб вам хорошо было, чтобы ты по настоящему пути пошел...

Таисия Петровна вытерла глаза маленьким надушенным платочком.

— Тебя разве там, ну, там... — она неопределенно махнула рукой, — не научили, что старших нужно уважать, а? Тем более... мы... кормим тебя, как с сыном родным обращаемся.

— Ну вот! Дошли и до попреков!

Рустам мгновение медлил, затем, словно решаясь, бросился в другую комнату, сбросил с шифоньера чемодан...

— Рустам!

Валентина побежала за ним следом, бросилась ему на шею.

— Куда ты? — она оглянулась на мать. — Что ты сделала, мама?

— Переетаны! — презрительно бросила дочери Таисия Петровна, останавливаясь в дверях. — Повисла на своем, как черт на сухой вербе! Где твоя гордость?

— Не пуццу! — закричала Валентина, обхватывая

Рустама за шею и прижимаясь залитым слезами лицом к его плечу. — Я тоже... тоже уйду с ним, мама! Так и знайте! Куда он — туда и я! Рустам, Рустамчик! Ну успокойся!

Она плакала, смеялась, опять плакала, и было видно, что с ней начинается истерика: лицо бледнело, искажалось, слезы то высыхали, то снова ручьями текли по лицу. И Рустам, и Таисия Петровна вдруг перепугались, бросились к ней. И вовремя. Она уже почти не держалась на ногах. Рустам успел, уже падающую, подхватить ее на руки, и, перешагивая через разбросанные вещи, отнести на тахту. Таисия Петровна исчезла и вскоре появилась вновь, держа в руках стакан с водой и валерьянкой. И уже потом, когда Валентина успокоилась, понемногу пришла в себя, он сказал враждебно молчащей Таисии Петровне:

— Я останусь, останусь. но зарабатывать на семью я буду сам.

На следующий день он устроился на работу ночным сторожем. Охранял почтовое отделение. Маленькая, три на четыре метра, комнатка, обшарпанный столик с двумя такими же стульями, диван, телефон и... тишина. Один, никто тебе не мешает, занимайся, сколько тебе надо, готовься к поступлению в аспирантуру. Но желание учиться дальше начисто вдруг пропало ..

* * *

Горячий, плотный воздух врывается в машину, ерошил длинные белесоватые волосы Топорькова, беззаботно откинувшегося впереди.

Каримов незаметно наблюдал за ним, и странное, тягостное чувство в груди усиливалось, росло. Как он сказал, этот уверенный ловкий парень? «Только неудачники думают о душе?» Что же, он считает Каримова неудачником? Ведь ему всего-навсего девятнадцать. Воз-

раст, когда мир представляется ровной дорогой, по которой можно пройти, не споткнувшись, «знойная пора», если можно так сказать. Вот именно, знойная пора! В Азии самый жаркий месяц называют «саратаном», природа тогда словно яростно сражается с иссушающим зноем, противостоит ему. Вернее, это солнце сражается, оно как бы пробует окружающее на крепость, оно сильно и могущественно. Саратан — высшая точка противостоящих сил! И человек, выходя в жизнь, тоже борется с ней, — может быть, молодость, эти самые девятнадцать—двадцать, и есть та самая «высшая точка»?

— Смотрите, свадьба,—оборвал его мысли Романчук.

— По первому разряду! — прокомментировал Топорьков, щелкнув длинными пальцами.

Действительно, рядом с ними, дожидаясь, пока на светофоре зажжется зеленый свет, стояла черная «Волга» с золочеными кольцами над смотровым стеклом, позади еще одна, с разноцветными лентами, что слабо трепетали по бокам машины.

— Девочка тоже первый сорт! — Топорьков острыми глазами всматривался в машины, и Каримов заметил загорелое лицо, красиво оттененное белой вуалью, прядь светлых волос над уверенными голубыми глазами. «А какой жених?» — Каримов перегнулся и, вглядываясь в «Волгу», заметил за невестой жениха — с лицом худым и задумчивым, и почувствовал невольную симпатию к тому, что у жениха, наверное, нет этого телячьего восхищения собою и окружающим, что он, вероятно, способен задумываться, что, может быть, ему сейчас страшновато и неуютно быть в центре внимания. Принято считать, что свадьба — самое памятное и счастливое событие в жизни. Каримов же хорошо помнил, что счастливыми для него были часы, когда он бывал наедине с Валентиной, и что свадьба запомнилась ему как неприятное и нежеланное вторжение в его жизнь десят-

ков незнакомых людей, которые горланили, командовали «Горько!» и вообще в конце концов забыли о них с Валентиной, потому что ресторан, где они праздновали свадьбу, был большим и шикарным. Их стол оказался не самым многолюдным, и в конце вечера добрая половина гостей их стола сидела за другими столами, зато возле них, в свою очередь, толпились уже совершенно незнакомые люди, и он, как никогда, чувствовал себя одиноким.

— Счастливые, — Романчук сказал это с легкой грустью. — Если бы мы с Танюхой сейчас молодыми были, я бы такую свадьбу отгрохал... эх!

Зажегся зеленый свет. Все машины, как по команде, рванули вперед.

А перед Каримовым, как в кино, мелькали кадры его свадьбы. Ресторан «Прага», тот далекий вечер. Выбор был сделан Андреем Ивановичем. «Ваше дело сторона, — говорил он. — Вы свое дело знайте. Приглашайте друзей, подгоняйте наряды, то-сё, а мы с нашей мамочкой («мамочкой» Андрей Иванович называл Таисию Петровну) сами решим остальное».

«Ресторан! — с ужасом думалось ему, когда он давал телеграмму матери. — Сколько денег уйдет! Как там мама с ее маленькой пенсией сможет выкрутиться?»

Попробовал было высказать свои соображения Таисии Петровне, что лучше провести свадьбу поскромнее, в общежитии. Институт поможет, комитет комсомола, профком.

— Не вмешивайся! — осадил его Таисия Петровна. — И без твоей самодеятельности голова кругом.

«Не вмешивайся!» И он не вмешивался. Смотрел, как кружатся в хлопотах Андрей Иванович, Таисия Петровна, Валя, ощущал неловкость от своей беспомощности, пытался стать полезным, помочь, но оказывалось, что он все делает не так. Получалась интерес-

ная штука — всем он мешал. Смешно. Никто не поверит, скажи он об этом: разве можно мешать на собственной свадьбе?

Ждал мать, но она не приехала. Прислала триста рублей и телеграмму с поздравлениями.

А может быть, она почувствовала, поняла, что не очень огорчит сына тем, что не приедет на свадьбу? Может быть, даже наоборот — обрадуется он, пусть не явно, втайне, что не придется краснеть за мать: как бы она выглядела на фоне разряженных гостей и родственников невестки...

Но об этом он тогда не подумал и грустил, что мать не смогла приехать на торжество. Андрей Иванович по-прежнему расценил его тогдашнее состояние.

— Не переживай! — говорил он, обнимая Рустама за плечи. — Я тоже не в короне родился. И ваше время придет, а пока мы с «мамусей» живы, поможем. Хотя мы тоже не такие уж богатые люди, сбережений больших не имеем... на одну зарплату живем, а что на нее сделаешь-то? Но не переживай, на вас хватит. Только и ты смотри: главное, не упустить время, уцепиться. Запомни, все хорошо, что хорошо вовремя. Один раз живем на земле, а это...

Он небрежно махнул в сторону официантов, которые неторопливо расхаживали вдоль накрытых столов, представляли бутылки с минеральной водой, водкой, коньяком и шампанским.

— Ерунда все это! Если бы я мог по-настоящему, — голос его понизился до шепота, — я бы вам... такую свадьбу организовал!..

И потом, перед самым началом, когда надо было идти встречать гостей, Андрей Иванович подозвал его и Валентину и заговорщицки вытащил из внутреннего кармана пиджака толстый пакет.

— Это вам, — сказал он. — Свадебный подарок. Не открывай, — остановил он нетерпеливый жест доче-

ри, которая хотела тут же посмотреть, что такое там внутри. — Дома посмотришь.

Но сам не выдержал и, улыбаясь, добавил:

— Не потеряй только, там... ровно «кусок». На первое время. Думал завтра отдать, после свадьбы, да уж ладно.

— Папка, ты молодчина!

Валентина повисла на шее отца. Потом сунула пакет в карман Рустама и шепнула на ухо:

— Там деньги, не потеряй. Тысяча рублей, — и уже громко добавила: — Свадебное путешествие нам обеспечено.

— Вот тебе раз! — развел руками Андрей Иванович. — Неужто я такой бедный, что не смогу летом отправить своих детей отдохнуть?

Он укоризненно посмотрел на Валентину, покачал головой и продолжил:

— Я же сказал, это вам на первое время. На карманные расходы, так сказать. В театры походить, в кино... Деньги, что они такое? Тьфу — и нет ничего! Главное, чтобы голова была, тогда все будет. И жить тоже уметь надо...

Свадьба!

Каримов до мельчайших подробностей помнил свадебный вечер. Яркий свет люстр под белоснежным потолком, раскрасневшиеся лица гостей, облигые скатерти, осколки битых фужеров под ногами, ежеминутное полупьяное «горько». Он сидел рядом с Валентиной, боялся поднять глаза, чтобы не выдать своего настроения. Все, все казалось ему страшно неестественным, будто его привезли в незнакомую компанию, посадили посередине и тут же забыли о нем. Иногда он, когда кто-нибудь из гостей подходил с налитым до краев фужером, чтобы выпить с ним, улыбался как можно приветливее, раскланивался с незнакомыми людьми, поднимал бокал, когда произносили очередной тост, прodelывал все это ме-

ханически. Единственно, чего желал — чтобы побыстрее все кончилось. Чувство, что он присутствует на премьере плохо разыгрываемого спектакля, видит фальшь, сам того не желая, подпадает под это настроение, включается в игру и играет плохо, отвратительно, хочет и не может вырваться из этого будто бы заколдованного круга — это чувство постепенно заполнило всего. К концу вечера он готов был закричать, взорваться, послать всех и в первую очередь себя самого ко всем чертям, встать и уйти, вернее — вскочить и убежать.

Вскочить и убежать, как это казалось легко! Легко и невозможно. Он понимал это и, стиснув зубы, сидел на почетном месте. А ведь казалось, что день этот будет самым счастливым в его жизни. С той первой встречи, когда он впервые увидел Валентину, почувствовал себя так, словно его неожиданно подхватила огромная волна и он постоянно находится на ее гребне, на высоте. Он всегда ощущал это, встречаясь с Валентиной. Когда же ему пришлось впервые расстаться с ней (он уехал на летние каникулы домой к матери), то этот месяц показался ему самым мучительным в его жизни. В конце июля дал телеграмму: «Не могу больше. Вылетаю. Встречай». Верил, если она не уехала из города, если телеграмма попадет ей в руки — встретит. Твердил про себя: «Придет, первым делом скажу, не могу без тебя, выходи за меня замуж. Нет — бросаю институт и уезжаю домой». Пока летел, перенервничал страшно. И до посадки в самолет пришлось понервничать. В аэропорту объявили задержку рейса, пеклись на солнце больше двух часов. Вокруг — ни деревца, ни навеса. Аэропорт новый, только строится: зал регистрации билетов, маленький ресторан, скорее похожий на рабочую столовую с вдвое завышенными ценами на те же тефтели, бифштексы и отбивные, два ларька с почти горячими бутылками лимонада, пожелтевшими пачками «Бело-мор» — и все. Наконец объявили посадку. Беспорядочная

толпа устремилась к самолету. Крик моториста в униформе: «Осторожно! От винтов! Сами потом плакать будете!» Никто не слушает, но от винтов потеснились. С одним из пассажиров случился припадок от жары. Хотели вынести на воздух, куда там! Такой крик поднялся, оставили в покое! Но вот самолет в воздухе. Часы бесстрастно отметили опоздание на шесть часов. В это время самолет должен был бы уже кружить над Москвой. О Валентине старался не думать, но мысли как назло по кругу возвращались к ней: хватит ли у нее терпения ждать? Посадка в столице. Нетерпение будто сжигает изнутри. Когда же эти чертовы моторы остановятся?.. Вот он бежит по узкому туннелю из стекла и алюминия. Впереди мелькает силуэт дежурной. Цветы. Как много цветов! Но почему он не видит Валю? Столько лиц, а ее нет. Ушла! А может, она не получила телеграмму? Он бежит вперед, не чувствуя тяжести ящика с виноградом, сетки с дынями. Глаза жадно шарят по толпе встречающих. Нет! Ее нет! Сердце бьется так сильно, будто хочет пробить грудь. Шесть часов, шутка ли! Неизвестно, ждал бы он на ее месте?

«Неделю, месяц ждал бы!»

Он пробился сквозь толпу, и вдруг перед его лицом возникли ярко-красные гвоздики.

— Валька!

— Это тебе,— засмеялась она, упираясь кулачками в его грудь...

На следующий день они подали заявление в загс.

...— Приехали!

Романчук медленно проехал мимо остановки «такси» и затормозил невдалеке от очереди.

— Может быть, вас все-таки до дома подвезти? — спросил Топорьков.

Его лицо было безмятежным, он был непричастен к

тому, что воспоминания со всех сторон обступили Каримова и жгли его, как жег сандалеты раскаленный за день асфальт. А может быть, вовсе и не Топорьков виновен в том, что ему захотелось приехать сюда, на Казанский вокзал, может быть, во всем виновата жара, такая непривычная для здешних мест, для этого огромного города и все же некогда обычная для Каримова, а может быть, ему захотелось подышать тем неповторимым запахом плавящегося гудрона и южных фруктов, который присущ летом, пожалуй, только Казанскому вокзалу? Как бы то ни было, именно слова Топорькова о счастье затронули в нем нечто глубинное, болезненное, отчего ему хочется побыть одному, и он заставил себя улыбнуться и ответ легко и беспечно:

— Не беспокойтесь, У меня здесь... друг приезжает.

Он махнул рукой вслед «Жигулям» и зашагал к вокзалу.

Дремлющее небо было того белесого оттенка, какого оно бывает в зной. Тележки оставляли на асфальте длинные вдавленные полосы. Под полотняным тентом шипит диффон, но видно было по недовольным лицам, что газировка в стаканях теплая и невкусная, и, наверное, потому возле киоска с фруктами стояла длинная очередь. Переругиваясь, спешили носильщики, пригибая к тележкам багровые лица, в киоске с цветами вяло свешивались к прилавку гвоздики, и это напомнило Каримову о свадьбе, о смущенном очкарике-женихе, который чем-то был похож на того Каримова, каким он некогда вот так же ехал из загса, а рядом сидела Валентина, безмятежная и счастливая...

Далось же ему сегодня это топорьковское «счастье»! Почему сегодняшняя невеста напоминает ему Валентину, и ее лицо вдруг ассоциируется у Каримова с лицом Топорькова? Неужели это всего-навсего зависть? Ерунда! Чему он может завидовать? Лучшей, чем Валентина, ему жена не найти. Отличная хозяйка, прекрасная

мать. Все у него есть: хорошая квартира, дача, сын, любимая жена. Любимая жена... Что же ты усмехаешься? Разве не так?

— Объявляется посадка на скорый поезд...

Андижанский. Его поезд.

Каримов встрепнулся, беспомощно посмотрел по сторонам. Эх-ха! Сейчас бы билет, забраться на вторую полку и до самого дома...

Дом. Где он, дом этот? Может, снесли его давно. Реконструкция городов. Наступление цивилизации. Тьфу ты, ерунда какая! При чем здесь цивилизация?

— Мама, мамочка, абрикосы хочу! Купи мне абрикосы. Вон у дяденьки купи! — захныкал рядом детский голосок.

Маленькая — лет шести-семи — девочка тянула изо всех сил немолодую, но довольно миловидную женщину. Она взглянула на Каримова и улыбнулась, отчего ее лицо стало еще более красивым.

— Ну что мне с тобой делать? — говорила она, поправляя платице на худенькой девочке.

— Хочу, хочу абрикосы!

Девочка заплакала.

— Э! Зачем плакать! Иди сюда, сестренка, кушай, сколько хочешь.

Смуглолицый парень в синей футболке вытащил из ящика большую горсть спелых абрикосов и протянул девочке.

— Зачем? Не надо! Я куплю!

Женщина суетливо стала шарить в сумочке, но парень, засмеявшись, остановил ее:

— Зачем «куплю»? На базаре, что ли? — говорил он смущенно, призывая Каримова в свидетели.

Он переложил ярко-оранжевые, крупные абрикосы девочке в ладони, погладил ее по реденьким, выгоревшим волосикам.

— Бери, сестренка, на всех хватит, — сказал он и,

словно оправдываясь, продолжила: — Друзьям привез. Служили вместе. Жарко в поезде, боялся — компот получится. Нет! Хорошие еще...

«Друзья, у всех друзья», — думал Каримов, отводя взгляд от ящиков с абрикосами. К нему из друзей никто так и не приехал. Были, правда, письма, но и то только первый год, пока он учился на первом курсе, пока не познакомился с Валентиной. Валентина... Как все в жизни устроено, переплетено — не разобраться, где запутался.

... — Значит, решил ехать?

Замира лежала на песке и старалась говорить спокойно.

— Почему ты мне ничего не сказал?

Она уперлась локтями в землю и прямо посмотрела на него.

— Почему? — повторила она и, не дождавшись ответа, сказала: — Смешно! Чего ты боялся? Что я тебе концерт устрою?

— Давай лучше искупаемся, — сказал Рустам, — а то Санб подумает, что опять ссоримся.

Замира встала и пошла к воде. Санб заплыл на середину озера и теперь отдыхал, лежа на спине и покачиваясь на серебристой, мутноватой поверхности воды.

Рустам разбежался, хотел нырнуть с невысокого выступа, но раздумал, медленно, боясь поскользнуться, пошел в воду. Тут что-то подтолкнуло его, он громко крикнул и окунулся с головой. Вода еще не успела нагреться после ночи, была холодная. Через секунду он вынырнул и поплыл к другому берегу, до которого было метров сто. Не успел он доплыть до середины, как вдруг кто-то поймал его за ноги и потянул под воду. Он даже не успел вдохнуть воздуха и потому глотнул порядочно воды, прежде чем оказаться на поверхности.

— Ты что? Дурману нажрался? — закричал он Саибу, который быстро плыл к берегу.

На берегу смеялась и хлопала в ладоши Замира.

— Молодец, Саиб! Так его! Еще раз!

Через несколько минут они все растянулись на берегу, подставляя солнцу свои загорелые спины.

— Не обижайся, — говорил Саиб, с наслаждением закапываясь в песок. — скоро уедешь, надо же отыгаться, чтобы запомнил.

— Твои шутки, что ли, запомнить? — лениво проговорил Рустам. — Наглotalся из-за тебя.

— Там такой воды не попробуешь, — засмеялся Саиб, — пользуйся, пока есть возможность.

— Замолчи, — сказал Рустам, метнув на Замиру быстрый взгляд.

Стало тихо. Было слышно, как вода накатывает на берег и шелестит мелкой галькой, как чирикает воробей, прыгая по ветвям старой, с обнаженными белыми корнями вербы, как ветер пересчитывает ее узкие, похожие на наконечники стрел листья. Мысли Рустама вновь и вновь возвращались к тому, что завтра он уезжает, что через несколько дней будет далеко отсюда и приедет только... Когда? Зимой... на каникулы?

Интересно, какие каникулы в институте зимой? Дней десять, пятнадцать?

То, что он может не поступить, провалить вступительные экзамены и вернуться, как это случилось со многими, кто уезжал, а потом возвращался, — об этом никто не думал, а он тем более. Он был уверен, что хорошо сдаст экзамены и поступит в институт.

— Никогда не ездил так далеко, — сказал он, мечтательно закрыв глаза, но осекся, поймав на себе взгляд Замиры, которая пытливо смотрела на него, положив голову на руки.

— Замира, а мы к нему в гости, — сказал Саиб. — На каникулы... когда захотим, что нам стоит!

— Конечно! — обрадовался Рустам. — Приезжайте, я вас встречу! Я вам так рад буду!

— Не ври, — негромко сказала Замира, и Рустам осекся, растерялся, а она привстала с песка и, с горечью глядя ему в глаза, продолжила отчетливо:

— Ты радуешься, что уезжаешь, а ведь твоя мама остается одна. Ты о ней подумал?

— Не слушай ее, Рустам! — пришел на помощь ему Саиб. — Езжай! Мужчине нужен простор. Думаешь, она о твоей матери думает? Она думает о тебе. Разве не видишь? Боится отпустить тебя...

— Что ты выдумываешь!

Замира снова уткнулась лицом в скрещенные на песке руки, но было видно, как запылала у нее мочка уха и по смуглой шее прошла горячая волна. Рустам смутился, показал Саибу кулак и фальшиво засвистел мотив из кинофильма «Серенада солнечной долины».

— Не это главное, — заговорил вновь Саиб, прерывая затянувшееся молчание. — Главное, чтобы мы и теперь, и дальше держались друг за друга, помогали во всем. Помнишь, Рустам, как я на дынях «сгорел», как Замира, гихоня наша, бежала за милиционером, чуть ли не редела: «Отпустите брата! У нас мама болеет!..»

— У тебя ведь тогда и вправду мама болела, — сказала Замира, подгребая к себе песок.

— Что мать! — пренебрежительно бросил Саиб. — Она обо мне не очень думает, так что — я сам по себе, она — сама по себе.

Саиб смешно сморщил нос и почесал переносицу:

— Я, конечно, маленький человек... чернорабочий...

— Ты чего, Саиб? — удивленно вскинулся Рустам.

— Чернорабочий общественного питания, — продолжал Саиб. — Но помочь, если надо будет — смогу, только напиши. Друг есть друг. Ты учись. Может, когда нибудь и мне твоя помощь понадобится.

На следующий день он уезжал в Москву. Мама, Саб и Замира приехали с ним на вокзал, и он украдкой все смотрел на Замиру, точно ожидал чего-то. Они все вместе стояли в тени молодой чинары, и горячие лучи солнца, проходя сквозь густую листву, мягкими золотистыми пятнами ложились на белую кофточку Замиры, искрами вспыхивали в ее темно-карих глазах, так что, казалось, слезы вот-вот польются из них, и от этого ровная, спокойная Замира выглядела незнакомо-жалкой, и Рустаму бросилась в глаза длинная гибкая линия ее шеи, тоненькая, тикающая жилка. «Совсем взрослая стала!» — подумал он с удивлением, и ему было радостно и тревожно одновременно. В это время Замира разговаривала с его матерью. Он смотрел на них и ощущал усиливающееся желание остаться здесь, в городе, где ему знаком каждый уголок, остаться возле Замиры, не расставаться с нею, бродить, как и раньше, вечерами по главной улице, когда над верхушками столетних каштанов (под самым толстым из них была маленькая узенькая скамейка, на которой они любили сидеть) зажигаются первые звезды и тонкий, дрожащий месяц несмело поднимается в зеленовато-розовом небе... Но он спохватился, промолчал, и Замира, словно уловив его колебания, прервала разговор и, взяв Рустама под руку, пошла к киоску, где на прилавке стояли бутылки лимонада.

— Рустам, не мучайся, — заговорила она, когда они не спеша пили лимонад. — Я вижу, что тебе тяжело, но это только сейчас. Потом, когда ты будешь там, когда ты уедешь, тебе будет совсем легко. Мне кажется, я тебя знаю так, как ты сам себя не знаешь, вот увидишь: сядешь в вагон и скажешь: «Фу! Наконец-то...» И все пройдет, и забудешь ты нас... И бесполезно... кому бы то ни было тебя удерживать, я это знаю...

— Ну зачем ты так! — скривился Рустам. Его поразила та серьезность, с которой Замира начала раз-

говор, и сейчас, мучительно подыскивая слова в ответ, чувствовал себя мальчишкой, провинившимся, не знавшим, как оправдаться перед строгой учительницей, а оправдаться надо.

— Ну вот видишь, как ты... какой ты друг! Ведь мы друзья, Замира, так?

Он говорил, не глядя на нее, боялся встретиться с нею глазами, но чувствовал облегчение оттого, что то непонятное, что чуть не встало между ними, могло изменить их отношения, — то непонятное проходило, оставляя его по-прежнему свободным, и жизнь опять звала его вперед маняще и настойчиво...

...Каримов глубоко вздохнул. Парень с абрикосами ушел. На том месте, где он сидел, на земле чернело несколько коричневых косточек. Каримов вспомнил девочку и вдруг пожалел, что не мог, как она: захотелось,— и все. Захотелось, подошел к незнакомому человеку, сказал, что хочешь, попросил помочь. Улыбнулся, представив себя на месте девочки. Вспомнил о ящике с абрикосами и тут же ощутил во рту кисло-сладкий, такой привычный вкус свежесорванных незрелых плодов. С детства любил урюк зеленым, когда плоды покрываются едва заметным румянцем. Берешь урючинку, раскусываешь на две половинки, косточки внутри еще не успели затвердеть, сочные, мягкие, похожие на прозрачные кусочки льда, они придают урюку особый вкус. Замира всегда заботливо обсыпала эти половинки сахарной пудрой и протягивала ему.

Жарко!

Каримов прошел вдоль перрона, выбрав место, чтобы не так прилекало и чтобы видеть весь состав андижанского поезда, прислонился к стене.

Стена была теплая, почти горячая, и он почувствовал, как рубашка, вот уже который раз за сегодняш-

ний день, противно прилипла к спине. Раздраженно рванул пуговицы и расстегнулся до пояса. Подумал немного и завязал концы рубашки узлом на животе. Кто его здесь увидит? Да если и увидит, кому до него дело! Захотелось так завязать рубашку, и все! Может он хоть иногда, хоть изредка, позволить себе то, что ему хочется!

Когда-то, в студенческие годы, он жил, не задумываясь над тем, что о нем подумают, как истолкуют тот или иной поступок, жил, как хотелось. Учился жадно, взалхлеб, радовался тому, что живет в Москве, что держит в руках такие книги, о которых раньше даже не слышал. В те годы он пристрастился к чтению, просиживал в библиотеке до позднего вечера и думал, что так будет всегда. И Валентину он тоже встретил в библиотеке. Теперь же, возвращаясь мыслями к тому дню, когда он впервые увидел свою будущую жену, Каримов чувствовал, как сладко и тяжело подступало к сердцу.

...Была зима. Январь. Воскресенье. С самого утра он ощущал в себе непонятное состояние приподнятости, возбуждения. Радовался непонятно чему. Жизнь воспринималась с такой полнотой, казалась такой прекрасной, будто он только прозрел и по-настоящему почувствовал ее. Увидел ее другую сторону, ту, которая всегда неожиданна, которая дает ощущение счастья, вселяет уверенность, надежду.

Он сидел в читальном зале и смотрел в окно. Нужно было подготовить доклад по философии, да какое там! В голову ничего не лезло, книга очерков философии, подшивки газет так и остались нетронутыми. Он смотрел в окно, видел пушистые заиндевелые ветки рябины на фоне дымчатого неба. Маленькие пичужки порхали без страха с ветки на ветку, осторожно поклевывали ярко-алые гроздья. Вспоминалось ощущение утра, морозного, обжигающего щеки, нос, уши, когда он

шел в библиотеку из общежития. Красное солнце послало на землю свои холодные лучи, заглядывало в черные глазницы домов, стелилось по заснеженным улицам, скользило по краям дороги, одиноким деревьям. Все пространство вокруг казалось наполненным мельчайшей серебряной пылью, которая небрежно играла светом, переливаясь всеми цветами радуги, оседала на крышах, выступах домов, игриво окутывала черные, точно обгорелые стволы деревьев. Щемящее чувство наполнило душу, чувство причастности к этому миру, к красоте, которая окружает человека. Ему казалось, что только он, он один видит эту красоту, и потому хотелось кричать: «Люди, смотрите! Как вы можете не видеть того, что вас окружает, что так близко!»

Рустам обвел взглядом тех, кто сидел в зале. Луч зимнего солнца, пробиваясь сквозь голубоватое от мороза стекло, косой полосой падал на лицо девушки и, искрясь синеватым пламенем, играл на ее сережках. Рустам подпер щеку кулаком: там, дома, мальчишкой еще, он любил ходить на плотину. Часами сидел на берегу сая, всматриваясь, как вспыхивают на доли секунд и пропадают, тонут в мутных струях горной воды солнечные блики. Тогда хотелось поймать одну такую искру, зачерпнуть в ладонь вместе с водой и унести куда-нибудь, спрятать, чтобы никто не видел, не нашел. Зачем? Чтобы в любую минуту, постоянно, ощущать ее снова и снова.

На девушке была вязаная шапочка, которая, низко надвинутая на лоб, скрывала ее волосы (так в то время носили шапочки все девушки). Только над самым ухом выбивались пушистые светлые пряди. Вспомнились девушки, которые живут на его родине, Замира, с ее длинными черными косами. Вспомнил, и будто резануло у него в груди. Почему в нем черный цвет стал вызывать ощущение жесткости?

Ему вдруг захотелось подойти к девушке, коснуться

ее волос: они обязательно должны быть мягкими, едва ощутимыми; захотелось погладить их. Он засмеялся тихонько, представив себе, как он это проделывает...

Солнечный луч скользнул по задумчивому лицу, осветил тонкие полоски бровей. Неожиданно жадным, обострившимся взглядом Рустам заметил легкий румянец, выступивший вдруг на ее щеках. Она словно почувствовала его взгляд, подняла голову. Глаза их встретились. Это продолжалось не более секунды. Ее глаза, чистые, наивные, немного удивленные, показались ему огромными, и он словно провалился в них. «Кто ты?» — хотелось крикнуть ему, и показалось, что он крикнул, но голос растворился в том безграничном пространстве, в котором он очутился, в которое прыгнул, не думая, и в котором сейчас парил.

«Кто ты?» — беззвучно шевелил он губами, и она услышала его, прочитала вопрос в устремленном на нее взгляде, он это понял по ее резкому движению, по тому, как она свела брови и опустила голову. Он сидел ошарашенный, с остановившимся взглядом, и смотрел на нее.

Позднее, через несколько лет, Рустам часто будет вспоминать эти минуты, словно оправдываясь перед собой, оправдывая Валентину. Ведь не показалось ему, будет убеждать себя Рустам, не мог он обмануться в том, что девушка эта может глубоко чувствовать, любить, восхищаться, что она стоит высоко над серой обыденностью жизни! Правда, в тот день, когда он впервые увидел ее, а потом пошел за ней, познакомился, он и сам не мог бы объяснить себе, что именно нашел в Валентине, что привлекло его в ней. Не смог бы сформулировать, что ли, свои ощущения. Он, наверное, был смешон, когда, увидев, что девушка уходит, рванулся следом. На улице он оказался минутой позже. Белая пушистая шапочка мелькнула в толпе, которая устремлялась в сторону метро. Минута — и она уйдет. И он

никогда больше не увидит ее. Эта мысль подхлестнула Рустама. Он кинулся за ней. Вот она — впереди, еще немного. Он лихорадочно соображал: что бы такое сказать, чтобы остановить ее, как случилось неожиданное. Женщина впереди него вдруг споткнулась обо что-то, нелепо взмахнула руками и, чтобы не упасть, схватилась за первую попавшуюся опору. Ею оказалась девушка, которая в свою очередь поскользнулась и упала.

— Помогите! — крикнула какая-то женщина, и тут же несколько человек окружили упавших.

— Вы не ушиблись?

Рустам склонился над девушкой. Голос его дрогнул, когда он встретился с ней глазами, синими, испуганными, какие бывают у обиженного, готового заплакать в любую минуту ребенка. Рядом возились, помогая встать женщине.

Девушка смотрела на Рустама так, будто просила о чем-то, умоляла защитить ее, спрятать от чужих глаз. Теплое чувство сильного к маленькому существу, охватило его. Он поднял ее, отвел в сторону, стал чистить ее белую, как снег шубку.

— Ничего, — говорил он тихонько, едва слышно, — не ушиблись — это главное.

Девушка уже пришла в себя, краснела, стыдливо отстранялась от его рук.

— Ну зачем же? Я сама... Спасибо... Ну что вы?

Да. Он любил ее.

«Любил? Разве сейчас он не любит Валю?» — вот уж который раз спрашивал себя Каримов. Спрашивал и не мог ответить. Временами ему казалось, что он давно разлюбил Валентину, что не выносит ее родителей, ненавидит свое существование. Не хочет и не может больше жить так. Что надо, наконец, решиться на что-то. Не может жить — так бросить все и уехать! Бро-

сильно легко сказать. В такие минуты перед глазами вставало лицо Владьки, его сына, — и опускались руки. Никогда и никуда ему не уехать.

Но это — теперь. А тогда? Тогда не было, как ему казалось, человека, который был бы счастливее его. Не было на свете никого лучше, чем его Валя, никто не мог так смеяться, так говорить, так ходить. В темноте по едва заметному силуэту узнавал ее. Многое, очень многое не замечал он тогда. И даже то неприятное, что временами проскальзывало в ее характере, отходило куда-то, пропадало, как только он видел ее глаза. Вспомнился эпизод в ресторане. Они еще не были женаты. Был день его рождения. Он получил из дома перевод и предложил Вале отметить событие вдвоем. Чтобы только он и она. В тот вечер им было особенно хорошо. Народу в кафе было мало. Оркестр, как по заказу, весь вечер играл что-то тихое, нежное. Скрипач, стройный молодящийся мужчина лет сорока, пел:

Ночь над городом закружит,
Фонари заглянут в лужи —
Золотые караси.
До далекого рассвета
Наугад мчит по проспектам
Одинокое такси...

Голос его, тихий, вкрадчивый, будто обволакивал танцующие пары, колебался в такт вместе с ними.

Золотая нить
Пряжи летнего дождя...
В паутине дней
Вальс ночных огней...

Они танцевали, не ощущая ни времени, ни места, где они находятся. Им казалось, что вокруг никого нет. На всем свете никого, только они и музыка. Он гладил

волосы Валентины, шептал ей что-то на ухо. И она, впервые не боясь за свою прическу, доверчиво терлась щекой о его ладонь... А когда он попросил официантку рассчитать его, Валя сжала под столом его пальцы и сказала, чтобы он показал счет сначала ей.

— Брось! — сказал он понимающе и засмеялся. — Все о'кей!

Потом уже, когда он проводил ее до дома, она не выдержала и спросила, сколько он заплатил.

— «Пощипала» немного, — сказал он, назвав сумму.

— Я говорила: покажи мне счет! Я бы ей «пощипала»!

В голосе ее прозвучало нескрываемое раздражение. Рустам поклонился над ней, ласково дунул в лицо, как бы остужая ее возмущение.

— Пустяки, стоит ли... Сегодня наш вечер, хорошо?

...— Не хотите ли чаю?

Из открытого окна вагона на Каримова смотрели двое: пышногрудая блондинка с копной огненно-рыжих волос на голове и улыбающийся узбек в распахнутой пижаме.

— Рахмат! — покачал головой Каримов и приложил руку к груди.

— Земляк или знакомый? — донесся до него вопрос блондинки.

— У нас все земляки, — засмеялся ее спутник и поднял руку с пиалушкой. — Зеленый чай.

— Рахмат! Большое спасибо! — еще раз громче повторил Каримов и снова подумал о билете.

Мужчина с чаем и женщина отошли от окна, на их место подошли другие, которые высовывали наружу головы, звали своих.

Счастливицы! Несколько суток — и поезд доставит их домой ..

Домой!

Там, где-то, кажется, далеко-далеко, остался его дом, не большой, но и не такой маленький, приземистый, с толстыми глинобитными стенами, местами подновленный, местами потрескавшийся, оставшийся от деда (дед знал самого Ахунбабаева, не раз встречался с ним). Рядом с домом протекает сай, у самой воды стоит топчан, срубленный отцом. Летом дом прячется в тени огромных тополей, все лето в саду цветут розы. Аромат душистого райхана и джамбиля заполняет маленький дворик, просачивается на улицу. Каримову показалось, что он снова трогает руками шершавую обмазанную саманом стену, всегда чисто выбеленную, напоминающую накрахмаленную простыню, слышит, как журчит вода из открытого крана, видит, как она переливается через край лунки, выложенной мелкой галькой, и весело бежит к грядке ярко-алых цветов хны с толстыми водянистыми стеблями. Руки матери всегда чуть слышно пахнут этими цветами, которыми женщины так любят красить свои ладони. Любят. Правильнее сказать — любили. Сейчас вряд ли кто красит ладони хной.

Мама. Она особенно любила цвет и аромат хны. Он помнит, как она набирала алые головки в подол платья, измельчала их в чугуновой ступе... Мама. Теперь она часто снится ему по почам. Наверное, это потому, что он стал часто думать о ней. Вот и сейчас видит ее так ясно и близко: она сидит на широком топчане, поджав ноги и спрятав их под платьем. Полдень, жара, но навес из виноградных лоз не пропускает обжигающих лучей. Мама катает перед собой две дыни. Вот она выбирает, наконец, одну из них, берет нож, примеривается, с какого бока начать, проводит тонким лезвием по мягкой поверхности. Ровные дольки ложатся на черный, окаймленный золотыми волнистыми линиями поднос. Она улыбается, выбирает самую большую дольку,

неуловимым движением срезает с нее кожуру и протягивает ему мякоть. Солнечный луч вдруг пробивает крышу виноградных листьев, падает на руку матери и вместе с желтыми сладкими каплями сока падает на скатерть.

— Ешь, сынок,— говорит она с той особенной лаской, которую умеют вкладывать в каждое слово только матери.

Он смотрит на ее руки, высушенные временем и работой, и нестерпимое желание обнять мать, почувствовать родное тепло овладевает им. Но он сдерживает себя, и только горячая влага подступает к глазам.

Милая! Сколько же седых волос прибавилось на твоей некогда иссиня-черной голове! Он помнит еще то время, когда трогал тяжелые косы и говорил:

— Не могу представить, мама, что ваши волосы станут белыми...

— Время, сынок, как зима,— ответила она.— Придет — не остановишь. Проснешься однажды — а кругом все бело.

Она обнимала его, говорила, целуя:

— Но мне не страшно. Ты мое время, у тебя будет сын, у твоего сына тоже сын и во всех них моя кровь. И так всегда...

Каримов рассеянно скользил взглядом по вагонам. Мимо прошел высокий парень в темно-зеленой махровой сорочке. Каримов проводил взглядом удаляющуюся фигуру, машинально отметил про себя, что неплохо было бы достать такую, в них говорят, не так жарко. Никогда не любил нейлоновых вещей, а большая часть его сорочек — как назло — нейлоновые, жесткие, неприятные для тела. На его просьбы Валя только отмахивалась: «Тебе надо, ищи!», а где он найдет? Андрея Ивановича попросить?

Представил себе, как Таисия Петровна будет говорить Валентине:

— Рубашку и ту не может достать! Андрей Иванович, пожалуйста...

Нет. Перебьется как-нибудь. Нужно походить по магазинам, бывает, что и наткнешься случайно. Последнее время Валя совсем перестала выходить с ним в город. Раздражалась, когда он вызывался пойти с ней.

— Ты деревянный, Рустам! Ходишь еле, дожидайся тебя на каждом перекрестке! — говорила она. — Только мешать мне будешь.

И он замолкал, понимая ее правоту. Раньше, когда она звала его с собой, сам отказывался, не нравилось ему это хождение по магазинам, толкотня в очередях, Валя же наоборот — любила людской водоворот у прилавков. Был какой-то азарт в том, чтобы с боем пробиться сквозь толчею, выхватить вещь из-под носа потных возбужденных воительниц и в конце концов победительницей вырваться из очереди, прижимая к груди очередную «дефицитную» вещичку. Эта тяга к покупкам, вещам постепенно превращалась в страсть. С каждым днем, месяцем, годом она росла, и из неумной жажды удовольствий превращалась в неумную жадность. И еще была у нее слабость. Валя любила ездить. Каждый год летом она собиралась и уезжала отдохнуть. Вначале он очень спокойно относился к ее летним круизам, даже радовался, что останется на некоторое время один. Но это вначале, потом стал ощущать некоторую досаду, которая не проходила, нарастала, нарастала из года в год. Ему казалось, что, уезжая, Валя просто бежит от него, от того, что встало между ними, что мучило их, от постепенно поднимающегося чувства раздвоенности.

Вначале у нее был страх, что он уйдет из дому, что она потеряет мужа, но время будто сгладило боязнь, а с рождением Владьки она вообще успокоилась. Вспом-

нил, как впервые повез жену в Узбекистан Свадебное путешествие. Да и с матерью нужно было познакомиться молодую жену. Поехали поездом. Так захотелось Валентине. «Больше впечатлений,— говорила она.— Новые дороги, новые люди...»

Вот они и в поезде. Ночь. Мерный храп соседей по купе.

— Же-ну-шка ты моя! — тихо говорил он, обнимая ее за плечи.

Он вдруг отчетливо представил себе, что женат, и жена его, Валя, сидит рядом, и будет рядом всегда, до скончания века, а сейчас они едут к его матери, которая ждет их не дожидется. Мама... Как они встретятся — самые дорогие ему люди?

— Посмотри, — говорит Валя, прерывая его мысли. — Эти фонари.. там за окном... тебе не кажется, что они живые? Такие живые и одинокие, как...

— Как ты,— прерывает он ее, целуя мочку уха.

Она поворачивает к нему лицо.

— Нет, правда... они будто наблюдают... У меня часто бывает такое ощущение, что за мной кто-то наблюдает. Смотри на меня, а я, как ни хочу, не могу его увидеть, и, главное, знаю, что никогда не увижу. Посмотри, эти фонари, они как глаза. Ночь и глаза.

— Чьи глаза? — он поцеловал ее и тут же продолжал: — Это бог; в философии есть замена этому понятию: абсолютная идея. Так вот, она вечна, она над нами и в нас.

— Всегда ты! — сказала Валентина. — Я же серьезно.

— Я тоже серьезно, — сказал он. — За тобой наблюдает мой дух, потому что для меня абсолютная идея — это ты.

— А как же тогда аспирантура?

— И аспирантура тоже ты. За последнее время я здорово поглупел, ты не заметила?

Он засмеялся.

— Теперь для меня другого не существует. Ты, ты и только ты! Даже не представляю себе, что стало бы со мной, не встретить я тебя? О какой науке может идти речь, когда я только и могу думать, что о тебе? У нас говорят: «Пойдешь не по той дороге, которую тебе судьба выбрала — обязательно ногу сломаешь».

— А у нас говорят: «Или грудь в крестах, или голова в кустах», — сказала Валя, прижимаясь к Рустаму. — И я хочу, слышишь — хочу! — чтобы ты стал великим ученым! Хочу, чтобы ты достиг всего, о чем мечтал, чтобы у нас было все. Все!

Потом пошли нескончаемые казахстанские степи. Вагон нагревало так, что нечем было дышать. Ко всему этому сломалась кондиционная установка вагона. Открытые окна не помогали. К концу вторых суток Валентина стала подавленной и вялой, словно выжатый гранат, почернела от жары и пыли, забралась на вторую полку и почти не вставала. Не разговаривала, листала старые журналы, которые он покупал на станциях, спала или делала вид, что спит.

— Терпи, милая, — успокаивал он ее. — Еще немного, скоро дом. Отмоемся, отдохнем. Махнем в горы, на озеро. Ты когда-нибудь ходила в горы?

Она не отвечала. Он видел, что у нее даже на это нет сил.

К станции они подъехали на рассвете. Жара за ночь слегка спала. От далеких гор, окутанных легкой сиреневой дымкой, веяло прохладой. Лицо Валентины в утреннем свете выглядело отдохнувшим. Не дожидаясь полной остановки поезда, Рустам спрыгнул на землю и побежал рядом с вагоном. Потом принял чемоданы, снял со ступенек Валентину. Она была совсем не тяжелой. Он засмеялся радостно, подержал несколько секунд и осторожно поставил на землю.

— Жаль, не дали заблаговременно телеграмму, —

сказала Валя, поправляя платье и оглядывая станцию.

Рустам сделал вид, будто не слышал ее слов. Мать писала ему в последних письмах, что приболела, что ей стало трудно ходить, потому и решил не беспокоить ее лишней раз. Автобусы она не переносила, а на такси, пожалуй, не поехала бы. Стеснялась.

Было шесть часов по местному времени. Но привокзальная площадь уже жила полной жизнью. Десятки легковых автомобилей, автобусы, грузовые такси загрохотали всю площадь, сигналили, вызывая пассажиров, и те торопились, спеша, грузили в багажники чемоданы. Словом, все было как обычно, но эту площадь Рустам не видел уже несколько лет, и ему внезапно захотелось обнять и чинару, возле которой они когда-то стояли вчетвером, и молодого парня, деловито копавшегося в моторе—он чем-то напомнил Саиба. Но это был не он. И в ту же минуту Рустам увидел:

— Саиб! — он ошеломленно раскрыл объятия и бросился навстречу другу, который прыгал через чемоданы, узлы, спеша к ним. Они обнялись.

— Сломаешь, медведь! — взмолился Рустам через несколько секунд. — Отпусти.

— Это жена твоя, знаю, — сказал Саиб, поворачиваясь к Валентине. — С приездом вас!

— Спасибо, — сказала Валентина. — Я вас тоже узнала. Рустам много рассказывал о вас и о Замире. Валя смугилась, поймав укоризненный взгляд мужа.

— Только я вас другим представляла...

— Каким же? — с любопытством спросил Саиб. — Толстым, огромным, усатым?.. А я — вот он.

Саиб выпятил вперед грудь, точно любуясь собой, закончил:

— Скромный служащий.

— Где ты теперь работаешь? Там же? В шашлычной? — спросил Рустам.

— Бери выше, друг, выше! Шефом в «Мархабо»,— ответил Саиб.

— Не похоже,— усмехнулся Рустам. — Зарабатываешь, наверное, побольше нас, а не скажешь, глядя на твой вид. Или маскируешься?

Рустам прищурился и хлопнул Саиба по впалому животу. Саиб действительно мало походил на традиционного шеф-повара. Худой, чуть выше среднего роста, он и одет был чересчур скромно, даже бедно, поношенные джинсы, выгоревшая на спине рубашка, старая тюбетейка на голове.

Саиб засмеялся на замечание друга. Глаза его, приветливые и оживленные, в эту минуту хитро сузились.

— Поговорим потом,— сказал он, мигнув Рустаму. — Мать заждалась, а мы тут болтаем.

Он щелкнул пальцами навстречу проходящей машине.

— Куда надо?

— В центр, дорогой, — сказал Саиб, открывая дверцу и приглашая Валентину в машину. — Не обидим, вези давай.

— Мать ничего не знает, — говорил Рустам, усаживаясь рядом с женой.

— Мы ей не сообщали, что выехали, — сказала Валентина, устраниваясь поудобнее, чтобы не помять свою длинную, всю в оборках, юбку. — Рустам ее бережет от потрясений.

— Узнаю, узнаю! — засмеялся Саиб, — он у нас такой, мать для него всегда была как святыня. Ну и вправду сказать, грех не любить ее, мать у Рустама — золото. Вам повезло, Валюша!

— У меня и свои родители очень хорошие, — сказала Валентина.

— Значит, вам вдвое повезло, — продолжал Саиб. — Теперь у вас две мамы.

— Вы с Рустамом как с одного хора, — заметила

Валентина, — сначала Рустам, теперь вы! Расскажите лучше, куда здесь можно поехать позагорать, покупаться. Я не думаю, что здесь... в вашем городке, есть что-нибудь лучшее.

Сайб коротко взглянул на Рустама.

— Мы вам не дадим скучать. Поедем в Шахимардан — есть у нас такое место, где раньше только ханы отдыхали. Горы, озера, а шашлык какой! Нигде такой не попробуете. И рестораны в городе есть.

— Да она не такая уж... любительница ресторанов, — сказал Рустам, обнимая жену за плечи. — Устала она. Экзамены, дорога...

Машина ехала быстро. Стрелка спидометра все это время не опускалась ниже цифры сто. Проскочили городскую черту. Потянулись невысокие дувалы, дома.

— Минут через десять дом, — сказал Рустам, — Началась главная улица, самая прямая и самая длинная. Гошки всевозможные, парад праздничный — все на этой улице.

Дорога, по которой они ехали, больше напоминала бесконечную широкую аллею. По краям ее исполинскими богатырями возвышались, словно поддерживая своими густыми кронами небо, вековые чинары и каштаны. Искривленные, почтительно склонившиеся перед их силой, будто готовые при первом же приказании лечь на землю, тополя, заскорузлые акации сиротливо жались между ними, как маленькие страны между могущественными империями.

Рустам выставил в окно растопыренные пальцы, направил на свое лицо струю воздуха, вдохнул в себя несколько раз.

Солнце нежилось еще низко над городом, освещало оранжевым цветом дрожащие листья пирамидальных тополей, похожих на стройных воинов в остроконечных шлемах. Проехала поливальная машина. Рустаму нестерпимо захотелось остановить машину, выскочить из нее,

упасть где-нибудь на траву, обнять землю, теплую, мягкую, родную. Не верилось, что через несколько часов все вокруг изменится; изменятся краски на деревьях, домах. Изменится воздух, станет обжигающе сухим. И солнце не будет таким, как сейчас, — веселым, ласковым. Гигантский раскаленный шар повиснет над городом. Люди будут прятаться от его безжалостных лучей, которые сейчас хочется ловить, трогать руками.

— Знаешь, Валюш, наш город довольно-таки молод, — сказал Рустам. — Его начали строить при Скобелеве.

— Город-сад, — сказал Саиб. — Говорят, что хотели сделать его курортом для царских генералов.

— Климат здесь прекрасный, — продолжал Рустам. — Земля богатая. Воткни палку — через месяц зацветет.

— Если вода будет, — добавил Саиб, оборачиваясь назад. — Воды у нас не хватает. А эти чинары, посмотри, Валя...

Валентина метнула на мужа красноречивый взгляд, но промолчала.

— Саиб — друг детства, так что вы сразу на «ты», а то неудобно даже, — сказал Рустам, улыбаясь.

Валентина пожала плечами, но Саиб понял, о чем речь, сказал поспешно:

— Я и сам хотел сказать, Рустам мне друг, больше чем друг. Брат почти, значит, и жена его — мне сестра.

— Что ты там о деревьях хотел сказать? — спросил Рустам.

— О деревьях? Забыл.

— Эти чинары в то время посадили, когда город начали строить, — неожиданно вступил в разговор водитель, пожилой, до этого не проронивший ни слова человек. — Возраст у них... Аксакалы! В каком городе еще увидишь такие деревья?!

— Вы все здесь такие патриоты своего города,—

сказала Валентина и засмеялась. — Мне даже стыдно становится за себя... Хотя нет, — спохватилась она. — Я вообще-то свой город тоже люблю.

— Теперь не то, — опять вклинился в разговор водитель. — Рубят кругом, мало осталось таких деревьев. Дороги расширяют, цивилизация, говорят, а сколько лет надо, чтобы дерево таким стало? А-я-яй! Вот вы еще увидите...

Он оперся о руль и повернулся назад.

— Мы увидим, — встрепенулся Саиб. — Мы все увидим, а рай в особенности, если ты так, дорогой, будешь вести машину.

Водитель обиженно отвернулся. В машине стало тихо. Рустам жадно смотрел по сторонам. Город, в котором он жил с детства, показался ему сейчас незнакомым, столько новостроек появилось вокруг. Промелькнуло здание универмага — огромные стеклянные стены, узкие полосы разноцветных кафельных плиток, и тут же — новый бар с восточным орнаментом, с узкими длинными окнами. «Молодеет город, — подумалось ему. — Наверное, скоро станут сносить и наш квартал». Было приятно, что возвращается он не в новую квартиру, а в дом — пусть старый, неказистый, но все же такой знакомый и родной. Мать писала, что соседи уже переехали в новые дома, и ему хотелось хотя на немного, пусть на месяц только, окунуться в мир детства...

Машина повернула в переулок, остановилась.

— Мне надо еще в одно место, так что заходить к вам не буду, я уже был вчера здесь, — Саиб помог выгрузить вещи, помахал рукой, садясь рядом с шофером. •

— Пошли!

Голос Рустама дрогнул. Он подхватил чемоданы и толкнул ногой калитку. Как и предполагал, калитка оказалась незапертой. Потом мама объяснила: «Больше недели не запирала калитку на ночь, ждала. Чтобы вам

не стоять на улице, — говорила она — Я, может, усну, а вы на улице? Как бездомные?»

Не успели они пересечь двор, как дверь дома распахнулась.

— Сынок! Сыночек мой, приехал!

Она выбежала как была, в стареньком платье, в котором спала, босиком.

— Сыночек мой! — приговаривала она, не зная, что делать, кого обнимать сначала — сына или невестку. Заметалась то к нему, то к Валентине.

— Это, Валя, мама, — сказал Рустам, улыбнувшись, — твоя невестка.

— Доченька! — сказала она, обнимая Валентину и прижимаясь горячими губами к ее щеке. — Не невестка, а дочь.

Валя зарделась вся, в свою очередь обняла свекровь, ткнулась в ее лицо.

— В дом, входи в дом, — говорила мама, не глядя на сына. — Это теперь твой дом, ты в нем хозяйка.

Рустам видел сияющие глаза матери, смущение жены. «Значит, понравились друг другу», — думал он.

— Вот и хорошо, — говорила мама ласково. — Вот мы и познакомились. Теперь и у меня есть дочь, слава аллаху! Вот какую красавицу послал на старости...

А вечером, когда они ушли в город, она обегала почти всех соседей.

— Сын приехал, — говорила она, — с женой. Красавица! Приходите в гости, плов сделаю, невестку увидите.

— Не дело, соседка, — встречали ее иные старухи. — В прежнее время не слыхали такое, чтобы сын женился, не посоветовавшись с матерью. Ишь, привез — знакомиться! Что будет с обычаями?

— Все в руках всевышнего, — отвечала мама и топилась уйти. — Говорят, любовь. Не нам — им жить. Мы свое отжили. Мне что, мне ничего не надо. Только

в старости не одной быть, чтобы глаза кто-то мог закрыть, если умру вдруг. Больше я ничего не жду. Лишь бы им хорошо было. Счастья им желаю — и все...

...Голос диктора прозвучал неожиданно, будто у самого уха. Каримов вздрогнул, усмехнулся в душе. Пу- гливым стал. Первые.

Он вздохнул. Сигарета в руке давно погасла. Пошарил в кармане. И сигарет, как назло, нет. Посмотрел по сторонам, искал глазами урну. Увидел. До нее было метров двадцать. Воровато оглянулся, бросил окурок под ноги, раздавил каблуком, размазал его по асфальту.

Диктор сообщил, что до отправления андижанского поезда осталось десять минут.

Десять минут. Еще десять минут. Вновь Каримов перенесся в далекое прошлое. Десять минут, думал он, три раунда. Десять минут, много или мало? Что можно за десять минут? Взять билет на поезд...

Он подумал о том, что жизнь человека кажется такой длинной, бесконечно длинной, что он не замечает, как бегут эти минуты. Десять минут — так много и в то же время так мало!

Каримов не понимал, почему он вспомнил именно эти минуты. Минуты третьего раунда. Третий раунд его, как потом оказалось, последнего боя.

... — Боксеры, на середину.

— Давай, — подтолкнул Рустама секундант, — со- берись. Все будет в порядке. Последний раунд.

Рустам кивнул и медленно пошел на середину ринга.

«Последний раунд, последний раунд решает все! Главное — эффектная концовка боя, и победа у тебя в кармане», — вспоминает слова тренера, которые тот лю- бил повторять, выпуская своих питомцев на ринг. Те-

перь эти слова звучали, как надоевшая пластинка. Рустам шел, стиснув зубы, с намерением сделать все! Все, чтобы выиграть. Он думал о том, что нужно сделать, как повести бой, и вдруг... Это произошло именно вдруг, как озарение, как вспышка молнии. Рустам вдруг совершенно отчетливо поймал себя на мысли, что не хочет драться, что боится противника. Это был конец. Не раз ему приходилось слышать о таком состоянии. Появилось оно, значит, проиграл. В таком случае — лучше попросить секунданта, чтобы выбросил полотенце, не то — хана! Не избежать нокаута!

И вот — это произошло и с ним! Нет!

Рустам промычал что-то, сделал финт телом, как бы уходя от удара, и плавно шагнул в сторону. Тело слушается, значит, все еще впереди. Он устал, просто устал и потому не хочет драться. Нужно перебороть себя — и все!

— Бокс! — раздалась команда судьи на ринге.

Рустам скользнул вперед и тут же в сторону. Черная кожа перчаток, скользнула по брозям, прошла мимо. Противник провалился, и Рустам, тяжело дыша, пошел в клинч. Как принято говорить в таких случаях, «связал противника», не давая ему нанести удар.

«Зачем? Зачем тебе это надо?» — спрашивал он себя и теснее прижимался к партнеру.

Трус! Трус! Испугался какого-то...

— Брэк!

Резкая команда судьи будто резанула по сознанию. Рустам расслабился. Противник резко оттолкнул его, сделал шаг назад и тут же ударил. Команда «бокс» и удары пришлись почти одновременно. Рустам инстинктивно втянул голову в плечи, хотел закрыться но руки не повиновались ему, отказались слушаться. Перчатки казались такими тяжелыми, будто их залили свинцом.

— Бей! Бей его! — заревел зал десятками глоток.

Рустам не чувствовал ударов. Только какие-то вспыш-

ки в сознании, словно в кромешной тьме кто-то пытается зажечь спичку, но не может.

— Бей!

— Правой! Правой бей!

— Под-да-ай! — ревел бас почти у самого уха.

Рустам вдруг ощутил нечеловеческую ненависть к тем, кто сидел в зале. Попались бы ему эти крикуны!.. По-тан-це-вал бы! Оторвал взгляд от пола и тут же встретился с глазами своего противника.

«Ну! Что смотришь? Радуйся, готов я! Выдохся! Встретился бы ты...»

Рустам не видел и почти не почувствовал удара, только будто в него в упор выстрелили из ракетницы. Он почувствовал легкость во всем теле и стал проваливаться куда-то...

— Четыре... пять...

Голос судьи был таким, как в пустой цистерне. Рустам держался за канат ринга, пол под его ногами раскачивался.

Плывешь, братан! Достал он тебя!

Рустам старался взглянуть в тот угол, где, по его расчетам, должен был стоять тот. Противник... Пацан! Груша! Мешок с ногами! Разве ж это противник?! Третий разряд, молодой еще, не бей сильно... Поиграй с ним...

— Шесть... семь...

Доигрался. Нокдаун. Я в нокдауне! Я... я!

Рустам пробовал увидеть себя со стороны, понять, что же произошло на самом-то деле. Он оказался слабее этого мальчика, допустил где-то промах, недооценил его? Ну и что! Мало ли было? Собраться, нужно собраться!

— Восемь... девять...

Скорей бы! Не могу больше...

— Собирайся, Рустам! В стойку — кричал из зала знакомый голос.

Не хочу... Не хочу — и все! Могу я не захотеть...

— Возьми себя в руки, Рустам,— узнал он голос тренера.

Оттолкнулся от каната, шагнул к судье.

— Бокс! — выстрелил судья.

Рустам стоял на месте, не в силах двинуть ни рукой, ни ногой. Стоял и раскачивался. Раскачивался и стоял. В зале кто-то громко засмеялся.

— Готов. Носилки ему, — крикнул бас.

— Бокс! — повторил судья, но уже тише.

Видимо, еще никто не верил, что он сломается. Надеялись на опыт. Рустам видел удар. Видел, но ничего не мог с собой поделать. Единственно, на что хватило сил, шагнул вперед и почти лег на партнера. Тот вырывался, отталкивал его от себя, пробовал ударить.

— Да-а-ви! — ревел зал.

Попался бы мне! Давитель!

— Брэк! Брэк! Стоп! — кричал судья на ринге.

Рустам стоял на середине ринга, будто не понимая, где он и что с ним.

«Все, что ли? — спрашивал он себя мысленно. — Все! Конец, кончился бокс».

В сущности Рустам никогда не любил драться. И в секцию бокса он записался, чтобы закалить себя, изгнать страх. Каждый раз, идя на тренировку, чувствовал во всем теле нечто похожее на зуд. Соперники, соревнования, показательные выступления — страх пропал, появилась уверенность. Начал побеждать, постепенно приходил опыт. Боялся одного — нокаута, но это, наоборот, подгоняло его. Заставлял себя участвовать почти во всех соревнованиях. Зуд остороженности так и не прошел. Перед каждым боем страх вновь, на какие-то доли секунды, напоминал о себе, вызывал в теле мелкую дрожь и слабость. И вот...

— А-а-а! — ревел зал.

Три минуты. Каримов усмехнулся: и они могут показаться вечностью!

Минуты. Дни. Годы.

Почему человек думает о времени, о том, что оно движется, что нет состояния покоя, о невозвратимости прошедшего только тогда, когда действительно ничего нельзя вернуть, когда все дорогое оказывается в прошлом? В одних случаях минута кажется жизнью, в других — жизнь минутой. Вспомнилась мама, которая часто говорила: «Береги, сынок, минуту. Она как зернышко бисера, из которого собирается ожерелье». Ожерелье жизни! Какое же зернышко разомкнуло цепь? Где, когда, в какой день того далекого лета между ним и Валентиной возникло отчуждение?

...Район, в котором жил Саиб, назывался Беш-бола.

— В переводе это значит «пять мальчиков», — объяснил Саиб, садясь за руль новенького «Москвича», на котором он почему-то не приехал за ними на вокзал: как он объяснил, машина принадлежала брату.

— Ты не знаешь, откуда пошло название Беш-бола? — спросил Рустам.

— Нет, — ответил Саиб, — зачем тебе?

— Да так. — сказал Рустам и пояснил, глядя на жену: — Не помню, кто-то рассказывал, что во всем кишлаке в живых осталось всего пять человек, и те — дети. Или мор какой, чума, холера там, или вырезали все население, а мальчишки спрятались и потому остались живы. С них и пошло название района.

Рустам замолчал, задумался.

— Беш-бола, — сказал Саиб. — Я жене сказал: не меньше пяти мальчиков чтобы родила мне. Пять палванов, богатырей, а потом и дочек можно. Надо же оправдать название района, в котором живем.

Саиб подмигнул им и захохотал.

— А дом у меня, посмотрите,— говорил он, — дача! Всю трудовую зарплату, до копейки, — на кирпичи, на шифер, на доски... Сами знаете, как стройматериал теперь.

— Брось! — насмешливо сказал Рустам.— Слышал, Замира писала мне о твоём трудовом энтузиазме. Говорит — знатоки обходили твою шашлычную за полкилометра.

— Замира теперь... ничего не скажешь! Начальник. На юридическом в Ташкенте, — говорил с улыбкой Саиб. — Я ей привез отрез кримплена — по старой дружбе. Думаю, дай приятное человеку сделаю, как-никак невеста дру...

Саиб вдруг замолчал, смешался на секунду, но быстро нашелся и продолжил как ни в чем не бывало:

— Невеста ведь уже, другая бы обрадовалась, расцеловала. Где найдешь кримплен-то? Принес я ей, так она — что ты думаешь?

Саиб коротко взглянул на Рустама.

— Деньги мне отдала! Я ей от всей души, а она — деньги...

— Так у тебя дом за городом? — спросила Валентина, не глядя на Саиба. — Мои родители тоже живут за городом. На даче.

— На даче, — хмыкнул Рустам, — домина такой, в два этажа, а она — «дача»!

Валентина будто не слышала.

— Умеют жить, наверно! — сказал Саиб, поймав реплику Рустама. — Плохо разве? Выйдешь утром: свежий воздух, розы под окном. Мне один друг тридцать кустов притащил весной, прямо из питомника, лучшие сорта. Названия такие, что не запомнишь. Как в раю теперь. А персики, яблоки, сливы — что душа желает. Ранней весной черешня, пять штук деревьев посадил, каждое по пятнадцать рублей покупал, а вишни! Что хочешь — все есть...

— Ты говоришь точь-в-точь как моя мама,— с легкой иронией сказала Валентина.

— Э! Что ни говори,— продолжал Саиб, окрыленный похвалой,— дом есть дом. Это тебе не коробки, в которых живут, как в инкубаторе. Чихнешь у себя, а сосед уже в стену стучит: спать мешаешь.

Справа потянулся деревянный забор, сменившийся железными решетками. Виднелись длинные пустые прилавки.

— Толкучка, — сказал Рустам, — по выходным весь город собирается, не протолкнешься.

— Молоко птичье купить можно при желании, — встрял Саиб.— Построили у нас завод искусственного волокна. Несколько килограммов выпустили, повезли в Ташкент показать, а на толкучке уже женские шапки продавались. Из этого самого волокна. Оперативно?

Машина свернула в тупик, обогнула толкучку, промчалась мимо пустыря, за которыми вдоль широкой буристой дороги потянулись типовые одноэтажные дома: из жженого кирпича, с высокими заборами, железными крашеными воротами, с узкими, напоминающими бойницы, щелями для газет и журналов.

— Кулацкий поселок,— сказал Рустам и зевнул.

— Во! Все так говорят: «кулацкий поселок», «кулацкий дом», а потом?— вскипел Саиб. — Человек работает, зарабатывает. Строит за свои деньги! Почему он кулак? Кому какое дело, как он живет! Чужое не трогает, не ворует, деньги есть — покупает, тратит, строит. Каждый по-разному тратит, одни по ресторанам, другие на женщин плохих, третьи на всякое другое. Жить — значит тратить...

— Не нападай так на моего мужа, пожалуйста, — сказала вдруг Валентина. — Все люди разные, двух одинаковых редко можно найти. И Рустам прав, и ты по своему тоже прав.

Рустам удивленно посмотрел на жену.

— И не нужно спорить об этом,— продолжала Валентина. — Между прочим, мои тоже так думают... Даже иногда ругают Рустама за его категоричность, и они тоже в свою очередь правы. Так нельзя судить человека строго категорично, потому что человек живое существо, думающее, с индивидуальными потребностями...

Рустам поймал восхищенный взгляд Саиба, хотел сказать что-то, но в эту минуту машина замедлила ход, свернула с дороги, потряслась по камням и почти уперлась передком в свежевыкрашенные коричневой краской мощные железные ворота.

— Мой дом — моя крепость, — сказал горделиво Саиб и выключил зажигание. — Приехали.

В ту же секунду скрипнула калитка, и на улицу выглянуло смуглое приятное личико. Выглянуло и тут же скрылось.

— Моя Ойгуль, — сказал Саиб, блаженно улыбаясь. — Стесняется. Сказал ей — привезу гостей, готовься. Ждет вот.

Он перегнулся через сиденье и открыл дверцу со стороны Валентины.

— Люблю ее,— сказал он вдруг и подмигнул Рустаму. — Говорит мало. А когда мало слов, когда женщина молчит, значит, скандалов нет, голова не болит. Жена такой должна быть.

Рустам промолчал. Улыбка скользнула по его лицу. Валентина поймала эту улыбку, погрозила пальцем Саибу:

— Ох-хо! И откуда у тебя такие замашки, а? Прямо-таки — бай со страниц истории Средней Азии.

Она не договорила. Саиб и Рустам переглянулись и вдруг расхохотались.

Некоторое время Валентина молча, не понимая, над чем они смеются, смотрела на них, потом нахмурилась.

— Это мы,— уселокил ее Рустам, — не обращай внимания, просто мы вспомнили, что в школе Саиб презвали «баем». Понимаешь, он подленивался иногда, контрольные списывал, вот девчонки его и презвали так. А ты прямо в точку попала!

— Я на бая не похож. Сейчас сам все делаю!

— И все же...— Валентина укоризненно качала головой. — Как вы говорите о женщине! Как будто она не такой, как вы, человек! Правильно говорят, что у вас женщины своего слова не имеют.

— А зачем им свое слово? — сказал Саиб. — За жену муж должен думать. Он хозяин в семье, он все достает, все покупает. Женщина не знает, что такое базар, магазин. Все муж приносит. Голова у нее об этом не болит. Зачем же ей думать? Так, Рустам?

— Нет уж, дорогой Саиб! Не порть мне мужа! — сказала Валя. — Слава богу, он у меня не такой.

— Рустам не такой? О-ха-ха-ха! — не удержался Саиб. — Плохо ты его, значит, знаешь. Такой он родился, таким и умрет. У нас это в крови. Разве может человек забыть кровь?

— Хватит, хватит, — запротестовал Рустам и первым вылез из машины. — Так мы неизвестно до чего доспорим.

— Какая чушь — кровь зовет! — пыталась возразить Валентина, но Саиб промолчал, закрывая дверь на ключ.

— Прошу! — сказал он, распахивая настежь налитку.

Рустам вошел во двор следом за Валей. Навстречу им шагнула Ойгуль: маленькая, кругленькая, с широкими черными бровями на смуглом, милом своей молодостью и чистотой лице. Она смущенно отводила взгляд от гостей и говорила, глядя на мужа:

— Здравствуйте! Сюда, пожалуйста. Саибджан-ана,

я в комнате все сделала, там прохладно. А вечером можно будет под виноградниками?

— Умница, жена! Все правильно решила, — сказал Саиб, приглашая Рустама и Валентину следовать за Ойгуль.

Ойгуль и Валентина пошли впереди, за ними Саиб и Рустам.

— Мое хозяйство, — говорил Саиб. — Там, — он кивнул в глубь сада, — кладовки, курятник, здесь гараж для машины.

Он остановился, прислушался к чему-то, пояснил:

— Мясо живое, слышишь?

Рустам затаил дыхание, но как ни старался — ничего не расслышал.

— Корова, бычок молодой... баран, рядом с курятником. Больше ста кур, индюшки есть. Мясо — деньги.

Рустам хмыкнул, саданул плечом друга:

— Хозяйство бая, ничего не скажешь!

— Хозяйство, как без этого? — ответил Саиб. — Неожиданный гость вдруг — на базар, что ли, бежать?

Рустам не ответил, Что, в сущности, ему не нравится? У каждого своя жизнь. Хорошо Саибу, нравится ему такая жизнь, ну и живи! Вспомнил школу. Саиб и тогда не очень тянулся к знаниям. С трудом переходил из класса в класс. Классная руководительница дожидаться не могла, когда наконец, он закончит седьмой класс, чтобы насовсем избавиться от него. Нельзя его было оставлять на второй год, и так считался переростком. В школу пошел с девяти лет. Над ним частенько подсмеивались в классе. Как-то Рустам заступился за него — это было уже в четвертом классе, с того случая они и подружились. Саиб часто пропускал уроки. После седьмого он бросил школу и стал работать у отца, потом перешел к брату, который заведовал кустом в тресте общепита. Через два года Саиб сам стал шефом маленькой «шашлычной». «Маленькая, зато прибыль боль-

шая», — часто говорил он, приглашая Рустама заглядывать почаще.

Рустам вспоминал, как Замира уговаривала Саиба пойти в вечернюю школу, кончить десятилетку, получить аттестат. Благо, там не так строго, лишь бы посещал занятия. «Не всем в ученых ходить, надо же и огонь кому-то разводить!» — отговаривался Саиб.

Дастархан был развернут на хантахте. Расстелены мягкие атласные одеяла

— Хорошо как! — засмеялась Валентина, быстро скинула туфли и села к дастархану.

— Для нее это экзотика, — сказал Рустам, оглядывая комнату.

На высокой тумбочке, рядом с огромным сервантом, сплошь уставленным хрустальными вазами, коктейльницами, стаканами, фужерами и рюмками, теснился магнитофон. Саиб включил его.

— Таваккал Кадыров, — сказал он, убавляя громкость. — Люблю его, хорошо поет.

Он опустил на колени.

— Открывай шампанское, — сказал он Рустаму. Взял коньяк, поболтал зачем-то в руке, посмотрел на свет. — Хорошая вещь! Армянский, КВ...

Два вентилятора мерно гудели с двух сторон, рассекая воздух большими резиновыми лопастями. Рустам, красный от выпитого, отяжелевший после обильного угощения, откинулся к стене.

Валя слегка опьянела, улыбалась чему-то, слушая Саиба. Рядом с пепельницей лежала распечатанная пачка сигарет «Золотое руно». Рустам взял сигарету, прикурил от зажигалки, которую протянул ему Саиб.

— Разрешить? — Валентина взяла зажигалку, с интересом стала разглядывать ее со всех сторон.

— Красивая вещичка, — сказала. — Не наша?

Она вопросительно посмотрела на Саиба.

... — На «черном» рублей четыреста. Сколько ты отдал за нее?

Саиб хитро прищурился, подбросил и вновь поймал зажигалку, будто пробуя ее на вес.

— Яримта, — сказал он. — Полштуки.

— Это — пятьсот рублей за какую-то зажигалку?! — Рустам не смог скрыть удивления.

— Так ведь это золото, — сказал Саиб, — высшей пробы золото. Притом — подарок.

— Подарок за пятьсот рублей! — не сдавался Рустам, делая презрительную мину.

— Хватит, хватит меня щипать, — благодушно ответил Саиб. — Я — ему, он — мне...

Саиб помолчал некоторое время, задумчиво посмотрел на Рустама и сказал:

— Интересный ты человек! Не на земле живешь... И Замира тоже, будто не понимаете...

Он вдруг заволновался.

— Ну хочешь... нет, лучше вот что... Это тебе! Подарок от меня, — и он сунул зажигалку в руки Рустаму.

— Перестань, — сказал Рустам, кривясь, как будто куснул что-то кислое. — Не нужен мне твой подарок.

Рустам подвинул сигареты к себе и закурил.

— А зря не принимаешь, — заговорил Саиб спустя некоторое время. — Стипендия у тебя не ахти, да и вообще, как жить на стипендию? Мать тебе не много может помочь. Зря не хочешь... от друга. Мы ведь — друзья?

...Теперь, вспоминая тот вечер, Каримов ясно понимал, что не только в честь давнего знакомства пригласил их в гости Саиб, что-то мучило его, как будто он собирался подступить к какому-то разговору и пока не решался, взвешивал все «за» и «против», колебался.

Годы, проведенные Рустамом в Москве, пролегли между ними чем-то более значительным, нежели время, и Саиб, продолжая дружбу, словно хотел продолжить ее на новом, так сказать, витке, и для этого ему нужен Рустам, не только принявший его образ жизни, но и поддерживающий этот образ жизни; поддержка же должна была связать их крепко и падежно. Вот почему, уже в середине вечера, он ударился в воспоминания и начал пространно рассказывать Валентине, как приходилось ему то и дело прибегать к помощи Рустама.

— У них в доме мне всегда хорошо было,— говорил он, стряхивая пепел в массивную стеклянную пепельницу в виде лодки со змеиной головкой на носу.— Придешь голодный — мама всегда шурпу приготовит, спать уложит. Вы ведь, наверное, знаете, Валентина, что я рос почти сиротой. Я еще тогда думал: вырасту, будет у меня настоящий дом. Свой дом! Такой, где бы мне в любое время есть подали, спать уложили. И вот — видишь? — он обвел рукой просторную комнату. — Все есть. Все! Теперь я о Рустаме думаю. Он мне как брат. Хочу, чтобы и он меня принял как брата.

— Ну, я вряд ли когда-нибудь смогу дарить тебе зажигалки за полтыщи, — усмехнулся Рустам.

— Сможешь? Я думаю, что если ты меня послушаешься...

— Тебе что-то нужно от нас? — спросил Рустам.— Говори.

— Я лично ничего не хочу. Я о тебе...

— Не нужно обо мне,— сказал Рустам,— я уж как-нибудь сам.

— А мне что? — говорил Саиб. — Сам так сам. Я ничего не хочу, у меня все есть, сам видишь.

Саиб демонстративно развел руками, замолчал, пытливо посмотрел на Рустама.

— Я почему в общем-то начал, — опять заговорил Саиб осторожно,— хотел предложить...

Рустам выжидающе смотрел на Саиба.

— Самое легкое и простое — это ковры. Цена на них, ты знаешь какая, вдвое больше платят. Люди сейчас богатыми стали, — Саиб усмехнулся и продолжил: — Ты мне ковер — я тебе чистоганом. Один, два, десять — сколько возможно. Ковер сто пятьдесят, значит, сверху накидываю еще сто. Подумай.

— Все сказал?

— Все. — Саиб улыбнулся.

— Благодетель, — нараспев проговорил Рустам и тут же: — Ты что? Вообще?! — Он покрутил пальцем у своего виска. — Ничего лучше не придумал! Спекулянта из меня!..

— Я, по-твоему, спекулянт, да?! — закричал Саиб, глаза его угрожающе блеснули. — Тебе...

— Саибджан-ака, манты готовы. Можно нести?

Тихий голос Ойгуль подействовал на Саиба неожиданно успокаивающе.

— Неси скорей! — обрадованно закричал он. — А то мы проголодались и ссориться уже начали.

Он засмеялся и подмигнул Рустаму.

— Какой голод, зачем? — поморщился Рустам. — Еле дышим...

— Я чувствую, что ты меня осуждаешь... — заговорил Саиб спустя некоторое время. — Ты, наверное, думаешь — спекулянтом стал Саиб, да? А почему ты не скажешь — умный человек Саиб, умеет жить?

— А ты считаешь, что жить умеешь? — Рустам ввязался в спор помимо своей воли. Спорить ему не хотелось, хотя он понимал: нет прежнего Саиба, и прежние отношения также отошли в невозвратное прошлое, так что новый Саиб требовал нового отношения, — но он продолжал цепляться за милые воспоминания, стараясь не замечать истины.

— Да, я умею жить, — твердо сказал Саиб. — Я знаю, что мне нужно. А ты — знаешь?

— Мне кажется, да. Я люблю машины, мне хочется научиться слушать их, узнавать. Я иногда думаю — они как живые. Даже сложные машины имеют способность приобретать человеческие качества. Есть такой термин — самоорганизующиеся системы. Как это происходит, отчего?

— Ой-ой-ой! Опять о машинах! — замахала руками Валентина. — Тебе бы спать в обнимку с машиной! А есть-пить надо? А окружить себя мало-мальски комфортом надо? Или ты посадишь жену в голую комнату, где только колченогий стул и ржавая железная кровать?

— Мне кажется, наш дом иначе выглядит.

— Но он будет таким, если папа с мамой перестанут нам помогать...

Рустам вспыхнул. Ему не хотелось выглядеть в глазах Саиба ловкачом, устроившимся в Москве как можно теплее и за спиной Валиных родителей проповедующим праведное поведение. Но Саиб мог истолковать Валины слова только так, и Рустаму было стыдно и неловко, что какая-то истина была в словах жены. Была!

— Вот видишь, любое дело требует жертв. — заулыбался Саиб. — Сначала нужно завоевать свободу, а потом — слушай свои системы!

— Свобода — это значит деньги? Но разве то, что ты постоянно думаешь о них, прикидываешь, где бы лишний рублик сорвать, — разве это свобода?

— Но я деньги не коплю. Я их тут же трачу. А значит, я не могу считаться рабом денег. А насчет ковров... Подумай! Если Валин папа в комиссионном — это же золотое дно!

— Я с папой поговорю, он, наверно, не откажется, — подхватила Валентина, и Рустам загорячился:

— Тебе тоже захотелось стать коммерсантом? Тебе мало своей домашней комиссионки?

— Ну, зачем же нападать на жену! — добродушно заговорил Саиб. — Жену беречь надо!

— Да и ты подумай! — почти кричал Рустам. — Подумай! Ведь сколько веревочке не виться...

Саиб пожал плечами. Больше о коврах они не заговаривали. На уговоры остаться и переночевать у них Рустам отказался.

— Мама волнуется, — говорил он. — Обещали, что к ужину поспеем...

Мать встретила их на улице. Она сиротливо сидела на скамейке возле дома, сгорбившись и положив руки на колени. От розовой закатной полосы на небе лицо ее казалось отрешенным и помолодевшим, а седые волосы отливали тусклым серебром.

— Мама, ну что это вы!

— Я плов приготовила, — тихонько отвечала она, пытливо взглядываясь в лица сына и невестки. — Хорошо отдохнули?

— Конечно! — Рустам, обняв мать, увлек ее к калитке.

— Случилось что? — спросила вдруг мать, уже подходя к дому, и Рустам поразился — в самом деле, материнское сердце всегда будет чуять неладное!

— Что вы, мама! — ответила Валентина. — Все было хорошо.

Когда они ложились спать, Валентина, упорно молчавшая, заговорила:

— А может, ты попробовал бы...

— Что — попробовал бы?! — взвился Рустам.

Валентина молча взяла расческу, стала приглаживать длинную упругую прядь. Темные опущенные ресницы красиво выделялись на розовом, с нежным пуш-

ком лице, из-под голубой рубашки выглядывала по-смуглевшая за эти дни шея.

— Не сердись, — заговорила она спустя некоторое время. — Ты ведь понял — я говорила о коврах. Что мне до этих ковров? Но ты же знаешь: мама вечно ворчит, что ты к нам относишься, как к нелюдям... Как будто ты брезгуешь нашей семьей... Да я же знаю! — поспешила она. — Я знаю — ты их действительно не очень-то... Но папа был бы рад помочь тебе, а ты бы помог Саиду.

— У Саида ковров не хватает?!

— Не хватает у других... И ты смог бы им помочь... Они с радостью заплатят. Папа...

— Валюша, я женился на тебе, — Рустам чувствовал, что злость у него постепенно проходит: Валентина смотрела на него кротко, глаза ее в пушистых ресницах были особенно красивыми... — Пойми: то, что ты говоришь, называется спекуляцией. Ты хочешь, чтобы твой муж был спекулянтом?

— Нет. Но я хочу, чтобы мой муж стал деловым человеком...

— Таким, как твой папа?

— Послушай. Не панадай на моего отца. В конце концов эта поездка... чьи это деньги? Ведь это те самые... презренные.

Рустам с изумлением смотрел на жену. Он видел: это сказано серьезно. Кроткие глаза Валентины были где-то, в самой глубине, испытывающими, а розовые губы, капризно надутые, — выжидающими... У Рустама стало холодно в груди. Так бывает у человека, беспечно уснувшего в своей постели и вдруг оказавшегося на дне глубокого колодца или в пустыне... Он испугался этого ощущения и потому, испугавшись, отступил назад — он превратил этот разговор в шутку.

— Когда я стану знаменитым — вернем Андрею Петровичу все его капиталы с процентами... А, Валюша?

Она исподлобья посмотрела на него, блеснула мелкими белыми зубками.

— До тех пор нам еще жить да жить...

Рустам не хотел ссориться с женой. Он опять попробовал шутить.

— Я давно говорил — давай перейдем на хлеб и воду...

Валентина потянулась гибким телом. Волосы ее, блестящие, чуть завивающиеся, он вдохнул их аромат и, закрыв глаза, зарылся в них, зашептал:

— Давай приедем сюда после института! Валюша, как здесь нам будет хорошо! Исчезнет проблема ковров. Исчезнут эти подачки, черт бы их побрал! Я... буду работать! На двоих я заработаю! Перейду на заочное, пока ты доучишься! А, милая моя?

— Но зачем мучить себя, когда эту сотню ты можешь спокойно иметь безо всяких трудов! Пойми же—я думаю о тебе! О тебе! Потому что люблю тебя. Не хочу, чтобы мои говорили о тебе, как об обузе... Ведь, действительно, мы оба — на шее у папы...

— Коврами я заниматься не буду. Работать — да. Приедем — сразу устраиваюсь. И ничего мне больше не говори!

У него дрожали руки, и громадных трудов стоило не показать этого Валентине. Он погасил лампу, и в комнате сразу стало темно и враждебно, словно разговор, оставшийся недоговоренным, притаился между ними, как непрозрачное облако или, вернее, туча.

И все же Рустам решил довести этот разговор до конца, в чем-то убедить себя и Валентину, а может быть, избавиться от сосущего чувства тревоги, которое было в нем теперь постоянно. Но Валентина держалась обособленно и после утреннего чая вдруг заявила:

— Мне здесь плохо, Рустам, поедem домой!

Мать, собиравшая со стола пиалы, замерла, переводя

взгляд с сына на невестку, которая весело, словно сказала нечто забавное, повторила:

— Ну да. Здесь так жарко! Не могу заснуть, сердце так и колотится. Мы и так уже загостились...

— Вы у себя дома, доченька, — не в гостях, — заговорила мать, поставив на стол пиалы и крепко сцепив большие смуглые руки. — Что же не нравится тебе у нас?

— Ну что вы! — все так же мило улыбаясь, Валентина снизу вверх смотрела на мать. — А если Рустам хочет здесь остаться — пусть остается. Я поеду одна. Ты же не будешь сердиться, Рустамчик?

У него перехватило дыхание, как после удара, но он нашел в себе силы, чтобы посмотреть ей прямо в лицо.

— Нет. Я не буду сердиться. Тебя никто не держит. А я действительно остаюсь. До конца каникул.

О, это розовое, безмятежное личико! Так, значит, Валентина объявила ему войну? Молчаливо — кто кого? И сдавшийся должен будет принять все условия, так, Валя? Хорошо же!

После обеда он принес ей билет на самолет, улетающий через два дня. Она приняла его без удивления, спокойно держа наманикюренными пальчиками, читала номер рейса, а он смотрел на ее розовые губы, словно ожидая, что вот сейчас она засмеется, бросится к нему и все будет как прежде...

Этого не произошло. Нечто, вставшее между ними в ту ночь, не рассеивалось — нечто враждебное, злое, что давило на плечи, как тяжелый груз, и с чем отныне предстояло жить Рустаму все эти долгие годы, хотя тогда он об этом еще не догадывался. Ему казалось, Валя истоскуется, поймет, что не права, и мир снова станет таким же сверкающим, безоблачным...

Провожая ее к самолету, он все еще надеялся на примирение, хотя держался так, словно все было ес-

тественным: и то, что Валя уезжает одна, и то, что он ее провожает... Но Валентина старалась не встречаться с ним взглядом и, болтая о всяких пустяках, горестно морщилась, незаметно для себя, как человек, чувствующий себя несправедливо обиженным и не перестающий об этом думать. И только когда объявили посадку, сказала быстро, как передуманное много раз:

— А ведь я просила такой пустяк... Но принципы тебе дороже.

— Это не пустяк, малышка, пойми ты! — взмолился он и, схватив ее за руки, обрадованный, почти закричал: — Я ведь буду тогда другим, не тем, понимаешь! Один раз продашь душу...

— Не надо, Рустамчик! — она отвела его руку. — Приезжай. Мы будем ждать.

Это «мы» было впервые твердым, безапелляционным, и Рустам отступил, осекся... Перед тем, как идти на посадку Валентина остановилась, деланно улыбнулась, послала воздушный поцелуй.

Он не помнил, как добрался домой. Все для него словно потеряло смысл. Ничего не хотелось делать, видеть кого-либо. На молчаливый вопрос матери махнул рукой. Сказал только:

— Улетела.

Улыбнулся из последних сил.

— Сказала, что напишет. Извинялась перед вами; просила не обижаться на нее.

Потом лежал в своей комнате, казавшейся ужасно неуютной, холодной. Долго не мог уснуть. Вспоминал, как впервые увидел Валентину, ее улыбку, боязливую, застенчивую. Где-то в нем, очень глубоко, звучал ее голос. С какой бы радостью сорвался сейчас за ней! Лениво подумал, что все чепуха. Даже окажется он сейчас в Москве вперед нее, случись чудо, вотреть он ее в аэропорту, что бы изменилось? Уехала. Сама уехала!..

Дни после отъезда Валентины стали нескончаемо длинными, скучными. Он почти не выходил из дому. Целыми днями валялся на кровати, читал все, что попадало под руку. Днем загорал во дворе, купался под краном. Засыпал далеко за полночь с чувством удовлетворения, что проводил еще один день.

Как-то раз, когда он, как обычно, лежал в своей комнате с закрытыми глазами, думая о своем, вдруг скрипнула дверь.

— Сынок, ты спишь?

Он не ответил. Из-под прикрытых век видел, как в комнату робко заглянула мать.

— Сынок, ты спишь? — еще тише повторила она.

Он не шелохнулся, боясь даже перевести дыхание.

— Если не спишь, скажи, что тебе хочется на ужин?

«Ничего! Ничего я не хочу! — хотелось крикнуть ему, но он сдержался и еще плотнее сжал веки. — Сплю, сплю я! Не видишь, что ли?»

Не хватало воздуха. Грудь готова была разорваться, но вновь скрипнула дверь, стало тихо.

«Ушла!» — с облегчением подумал Рустам, осторожно открывая глаза.

Надоели. До ужаса надоели ему эти участливые вздохи матери, ее заискивающий тон. Зачем? После драки кулаками не машут.

Он думал о том, что делает сейчас Валентина. Наверное, отдыхает на даче? А может, и нет. Сидит в городе, в своей квартире. Включила магнитофон, легла на диван, взяла в руки сборник Цветаевой. Представил себе ее глаза, когда она читала любимое стихотворение поэтессы, единственные строки которого он запомнил: «Еще меня любите за то, что я умру». О чем она сейчас думает? Перед его мысленным взором возникла Таисия Петровна. Конечно же, и она там. Рядом с доченькой. Как это без нее! Бушует, наверное?

Он представил себе, что могла бы говорить в эту

минуту несравненная Таисия Петровна: «Как так! И он посмел отпустить тебя одну? Не-е-ет! Это... это не мужчина! Не муж! Да после этого... Ну, погоди! Пусть только приедет, я его по лестнице!..» Даже подумать страшно, что его могло ожидать, когда он вернется в Москву, домой.

Домой!

Рустам усмехнулся. Где его дом? Здесь, где он родился, рядом с матерью, или там, куда уехала Валентина, его жена? Он встал, подошел к книжным полкам и вытащил томик Омара Хайяма. Скептическая улыбка пробежала по его лицу, когда он подумал о том, что хотел сейчас сделать, но все же закрыл глаза, открыл наугад страницу, чиркнул ногтем по бумаге и только тогда открыл глаза.

Поискал, что же ему выпало:

Трезвый, я замыкаюсь, как в панцире краб.

«Нужно выпить!» — внутренне засмеялся он вдруг. Лучшее лекарство. А то и вправду он стал похож на краба. Очень. Особенно с отъездом жены.

Пробежал глазами все четверостишие:

Трезвый, я замыкаюсь, как в панцире краб.

Напившись, я делаюсь разумом слаб.

Есть мгновенья меж трезвостью и опьянением,

Это высшая правда, и я ее раб.

«Есть мгновенья меж трезвостью и опьянением», — прошептал Рустам. Где же граница между опьянением и трезвостью? И что лучше?

Хлопнула дверь с улицы. Рустам прислушался.

— Входи, доченька. Забыла меня совсем, — говорила мать, обращаясь к кому-то.

«Доченька?» — удивленно подумал Рустам.

— У себя там.

Голос матери прозвучал глуше. Видимо, вошедшая поинтересовалась им.

— Посмотри, целый день лежит, никуда не ходит,— говорила мать.

— Мама, кто там пришел?! — крикнул Рустам, думая, выйти самому или подождать. Но тут раздался стук в дверь.

— Можно?

— Да-да! Ну что ты спрашиваешь! — всполошился Рустам, кидаясь к двери.

Он узнал голос Замиры, распахнул дверь. Это она! Рядом с ней стояла мама, которая улыбалась, будто ждала чего-то.

— Ты? — растерянно сказал Рустам.

— Не ждал?

Замира смотрела ему в глаза. Края губ ее подрагивали.

— Входи, пожалуйста.

Рустам не знал, что говорить. Отступил на шаг, освобождая ей проход.

— Накурено как! — смешно поморщилась Замира и помахала перед своим лицом. — Теперь только вентилятором можно продуть... Дышать нечем.

Замира прошла к окну, распахнула его пошире.

— Что это ты держишь?— спросила она, глядя ему в руки.

— Так себе, — сказал Рустам, не зная, что делать с книжкой. — Смотрел вот.

— Хайям? — сказала Замира. — Как всегда, гадаешь?

Она понимающе прищурилась.

— Почему именно гадаю? — вспыхнул Рустам и швырнул книгу на стол. — Говорил же, что просто посмотреть хотел...

С первого дня приезда он нет-нет и вспоминал За-

миру. Вспоминал и боялся, что неожиданно встретится с ней в городе. Саиб говорил, что она приехала на каникулы, видел ее несколько раз. Гуляя по городу с Валентиной, не раз ощущал, что Замира рядом, наблюдает за ним. Даже вроде мелькал в толпе знакомый силуэт. Он вздрагивал, с опаской всматривался, где, по его мнению, она могла стоять, облегченно вздыхал, когда не находил ничего подозрительного. И вот она сама пришла.

— Услыхала, что ты приехал. — говорила она спокойно, будто не замечая его волнения.

«А собственно, почему я должен волноваться?» — спрашивал он себя, стараясь взбодриться.

— Затворником живешь? Не помешала?

Глаза ее насмешливо блеснули.

— Саиб постарался?

Замира не ответила, взяла сборник Омара Хайяма, прошла к полкам, сунула его меж книг.

— Переживаешь?

Он удивленно взглянул на нее, так неожиданно серьезно прозвучал ее вопрос.

— Мне только и остается переживать, — усмехнулся он.

Стало тихо.

— Плохо мне, понимаешь? — вырвалось вдруг у Рустама. — Молодец, что пришла. Я и не надеялся.

Замира улыбнулась, хотела что-то сказать, но не успела. Открылась дверь, и в комнату заглянула мама.

— Замирахон, я плов хочу сделать, ты мне не можешь?

— Вы еще спрашиваете! — укоризненно покачала головой Замира.

— Она часто приходит ко мне, — ответила мама на цемой вопрос Рустама.

Потом они втроем сидели в саду, ели плов, пили домашнее виноградное вино. То ли вино на него так по-

действовало, то ли еще что, но впервые за это время Рустам не ощущал той пустоты и тяжести, которая навалилась на него с отъездом Валентины. Незаметно прошел вечер. Было уже за десять, когда Замира вспомнила о времени, заторопилась домой.

— Влетит мне от мамы,— говорила она сквозь смех и показывала на часы, — заговорила совсем, и вае, наверное, утомила.

— Какое там!— всплескивала руками мама.— Я так рада, так рада! Давно так не сидели. И Рустам вот отошел немного... А может, у нас перепокуешь, доченька? Хотя нет, твоя мама беспокоиться будет, по себе знаю. Вот Рустам проводит тебя.

— Зачем, не надо, — стала отказываться Замира.

— Как не надо, — категорично заявила мама,— время позднее, вдруг что случится.

— Украдет кто тебя, — сказал Рустам, — так что не возражай маме, провожу.

Они вышли из дома. На улице было пустынно. Жаркий безветренный день оставил после себя душные испарения асфальта, перегар выхлопных труб, в который едва ощутимо вливался тонкий аромат ночных фиалок, райхона, цветущего шиповника. Тихо журчала вода в арыке. Из раскрытого окна неслись позывные «Маяка».

Рустам прислушивался к шагам Замиры, думал о времени, которое пролегло между ними. Думал о том, что, несмотря на это, ничего в сущности не изменилось. Вот он идет рядом с Замирой, как и раньше, слушает ее шаги, особенные, легкие. Ничего не изменилось. Город, улица, фонари — все как и тогда, когда он провожал Замиру домой. На их пути черные окна парсуда, загса. Там, дальше, гастроном, театр. Урчат автоматы газированной воды. В парке завывает джаз. Отголоски музыки доносятся до них, и если прислушаться — можно различить слова песни. Ничего не изменилось, и все-

таки что-то не так. Изменился город. Изменился он. Изменилась Замира. Саиб уже не тот. Все изменилось.

Замира не смотрела на него, но все равно он постоянно ощущал, что она следит за ним каким-то внутренним зрением, прислушивается к его дыханию, читает его мысли, но молчит. Она шла, не глядя вперед. Смотрела под ноги, но будто не видела дороги. Это он понял по тому, что уже несколько раз подхватывал ее, когда она неожиданно спотыкалась и едва не падала. Рустам всегда вовремя успевал поймать ее, поддержать под руку.

— Осторожно! — говорил он. Она безмолвно, одним взглядом благодарила его.

Он смотрел на ее профиль, любовался милым очертанием вздернутого носика. В маленьких сережках-капельках нет-нет и вспыхивал тонкий луч от ночного фонаря.

Но Рустам смотрел на Замиру чужими глазами, будто впервые увидел ее. «Красивая. Ведь красивая! И чего мне не хватало?» — спрашивал он себя.

Рустам почувствовал, как дрогнуло что-то у него в груди. Ему вдруг захотелось обнять ее и поцеловать. Вновь мелькнула мысль, что где-то есть Валя. Но ведь она сама! Она первая бросила его, говорил он себе. Замира бы никогда не сделала так. Никогда...

А может, не нужно было уезжать отсюда?

С этим вопросом пришло ощущение, что он никогда и никуда не уезжал. Что все, как и прежде. Что действительно ничего не изменилось. Он — это он, все тот же Рустам, который учится в школе. В каком классе? Это неважно. Пусть ему шестнадцать лет. Шестнадцать, как и Замире, которая идет с ним рядом. Там, впереди, их ждет Саиб, который тоже все тот же неутомимый весельчак, балагур и драчун. Вспомнилось, как однажды он и Замира стояли возле танцплощадки, ждали Саиба. Вдруг возле них остановился парень, он

был навеселе. Притом здорово. «Слушай, друг, сними очки», — сказал он. Рустам удивленно посмотрел на парня, потом на Замиру. «Ты его знаешь?» — «Нет!» — ответила Замира и пожалала плечами. «Сними очки, солнца сейчас ведь нет», — не унимался парень и даже хотел было это сделать сам. Рустам отклонился назад, спокойно отбил руку и сказал: «Не надо, парень. Иди своей дорогой». Драться не хотелось. А очки он носил потому, что на тренировке попал под удар. Глаз слегка заплыл, пришлось одеть солнцезащитные очки. И на тебе! «Не нравится?» — попробовал было миролюбиво закончить дело Рустам. «Да. Мне не нравится. Мне не нравится, потому ты сними, а то я сам...» — «Что такое?» — возле парня возник Саиб. «Ему не нравится мой вид. Просит снять очки», — усмехнулся Рустам. «Идем со мной, парень», — хлопнул его по плечу Саиб и быстро пошел за танцплощадку. Рустам ничего не успел подумать и сказать. Пока он соображал, объяснял что-то Замире, все кончилось. Когда он кинулся в сторону, где должен быть Саиб, тот уже шел навстречу и улыбался. «Все в порядке. Куда ты?» — «За тобой», — ответил Рустам, стараясь прочитать на его лице, что там было. Саиб слегка хромал. «Ногу вывихнул, черт!» — только и сказал он...

Все, все показалось, как раньше. И эта улица, по которой он провожал Замиру, и парк, куда они ходили на танцы, а потом сообща сочиняли, что сказать дома. Там, за поворотом, аллея, на которой им было знакомо каждое дерево. Одним концом аллея упиралась в высоченную стену летнего кинотеатра, другим выходила к чайхане на берегу сая. Аллею называли аллеей влюбленных. Была здесь у них любимая скамейка, возле которой он встречал Замиру.

— Замира!

Голос у него неожиданно дрогнул. Он остановился и потянул ее за руку.

— Не надо, Рустам, — сказала Замира отрезвляюще спокойно.

И сразу все изменилось. Он в первое мгновение даже не понял, что случилось. Словно проснулся. Видел красивый сон и проснулся.

— Не надо, — повторила Замира.

Рустам отпустил ее руку и быстро пошел вперед. Ноги сами несли его знакомой дорогой. Шел, не оглядываясь, злясь на себя. Зачем он приехал? Зачем она пришла? Зачем пошел провожать? Ну, если уж пошел, так зачем сюсюкать? Проводил — и все! Ему хотелось, чтобы она что-то сказала сейчас, чтобы он мог вспылить, ответить ей резко, оставить на половине пути, благо оставалось всего-то чуть-чуть, и уйти.

Уйти! Да вот. Именно так, пыжился он, нагоняя на себя злость. Но это почти не удавалось, наоборот. Непонятно, откуда появилась в душе нежность к Замире, Рустам понимал, что глупо ему сердиться на нее. Он свернул с тротуара, прислонился спиной к чинаре и вдруг, будто срастаясь с могучим деревом, ощутил всем своим существом, как медленно и мощно тянутся вверх, в бездонную высоту, соки земли, как глубоко вросли корни, и потому не страшна дереву никакая буря: ломает верхушку — сейчас же потянутся из старого ствола молодые упрямые побеги, потому что если есть у дерева корни — есть и сила жизни. Было хорошо стоять так, глядеть в высокое ночное небо и думать о том, почему люди часто не понимают друг друга, почему иногда не знают себя, почему сердце, сталкиваясь с разумом человека, его волей, поступает наперекор? Наверное, хорошо было бы ему, Рустаму, полюбить Замиру, которая все эти годы, кажется, ждала его, — и уж она-то была бы ему надежным спутником жизни. Но никогда его сердце, вспоминая ее, не щемило так, как это случалось с ним, когда Рустам думал о Валентине. И с этим ничего не поделаешь, остается только упрекать сердце и

придумывать доводы, при помощи которых Валентина останется невинной не только в глазах матери, но и в его собственных глазах.

Он прислушался. Звонко стучали об асфальт торопливые каблучки.

— Замира!

Она подошла, запыхавшись, и он с сожалением оторвался от чинары, пошел, не давая ей остановиться, хотя понимал, что она с удовольствием села бы на одну из скамеек, что густо стояли по всему бульвару. Голубой свет фонаря упал на глаза Замиры — они были тревожные и печальные, и все же Рустам чувствовал в них надежду и ожидание, и это ожидание сковывало его, не давало чувствовать себя так спокойно и непринужденно, как хотелось. И уже вместо нежности росла неловкость: чего доброго, отъезд Валентины мог быть воспринят как освобождение Рустама, и Замира, конечно, могла надеяться на возобновление приятельских отношений, а может быть, и на большее...

— Ты видел Саиба, конечно, — у нее был спокойный (чересчур спокойный!) голос, а ему показалось, что Замира заговорила просто для того, чтобы начать разговор.

— Да.

— И он — даю голову на отсечение — что-то просил у тебя...

— Что, например?

— Например, привезти ковры.

Рустам удивленно остановился.

— Откуда ты знаешь?

— Да ведь нетрудно догадаться. Он теперь своих друзей пробует связать круговой порукой, принципом: я — тебе, ты — мне. Почему же он тебя в стороне оставит? Только я тебя прошу, Рустам, не попадайся на крючок. Я очень... за тебя боюсь.

В голосе ее сейчас прозвучала нежность, и Рустаму

захотелось забыть о своих опасениях. В конце концов Замира ему не чужой человек, с ней хитрить не будешь. Она поймет, что он любит Валю, и по-прежнему будет ему преданным другом! И он заговорил горячо и взволнованно:

— Да, я все время думаю о Саибе... и о себе! Знаешь, у него уже появляется взгляд сверху вниз. «Я тебе помогу, ты только слушайся», «Я знаю, как жить!» А почему, собственно? Он чувствует себя умником, потому что делает деньги.

Рустам почти кричал.

— Не знаю, ничего не могу понять, ведь все мы начинали одинаково. Учимся, работаем, говорим о высоком, понимаем, что такое долг, любовь к ближнему. Но на деле — что получается? Говорим и тут же кривимся, словно о чем-то плохом идет речь! Замордовали, так затаскали со школьных лет эти слова... Деньги, деньги, деньги... Когда этим заражаешься, начинаешь и вправду завидовать... Завидуешь их жизни! Нет, я что-то не то хотел... не завидовать...

Рустам замотал головой.

— Не то, не о том я. Не завидовать, а... Хотя, почему? Пусть даже так. Зависть, разве не она в большинстве случаев толкает человека на подобные аферы? «Делай, как он! Учись у умных людей!» Разве не говорят так, показывая на этих преуспевающих дельцов? Самое плохое, что есть в тебе, вдруг выползает наружу, начинает заполнять твоё тело, твои мысли, всего заполнять, от себя ведь никуда не денешься! Наседает оно на тебя, подавляет все лучшее, что еще живет в тебе: и вот ты готов! Готов современный рвач, рвач-сверхчеловек. Что ты скажешь по этому поводу?

— Придет время, и ничего такого не останется, — сказала Замира. — Не могут такие люди, ведь ты сам прекрасно понимаешь, не могут они быть всегда.

— Конечно, — усмехнулся Рустам, — правда всег-

да побеждает. Зло не может быть вечным. Проснемся в одно прекрасное утро и... все! Ничего из старого! Красота! Бери любого, наугад, и под колпак, в музей! Образец невинности!

— Я серьезно.

— Я тоже, — сказал Рустам. — Серьезно говорю, что верю. Так оно и будет... Но куда мы денем вас? Куда вы пойдете работать? Не скучно ли будет в этом всеобщем благоденствии?

Рустам улыбался.

— Мой милый, работы мне хватит до конца жизни! А мои дети... Они будут... кем захотят, специальностей хватает...

— Ага! Вот мы и договорились! — закричал Рустам торжествующе. — Что получается? Еще лет сто, если не больше, и жизнь пойдет по-старому? Значит, я не увижу этого «золотого века»? Тогда почему же я должен всю жизнь смотреть на этих ворюг, злиться, что они, мол, живут в свое удовольствие, а я... Я верю! Я буду верить, а они пусть живут и смеются над моей верой, так?

Рустам закурил сигарету, глубоко затянулся несколько раз.

— Прости, — сказал он. — Не знаю, что со мной.

Улица словно вымерла. Где-то впереди мелькнул и пропал одинокий силуэт.

— Вот ты через несколько лет станешь судьей или следователем, неважно кем, — начал он, — юристом. От тебя будет зависеть судьба человека. Допустим, ты судья — смогла бы ты осудить или хотя бы разрешить арест того же Саиба?

— Если он попадетса...

— А если нет? Ты юрист, органам ничего о нем неизвестно, только ты, ты знаешь о нем все, знаешь, что он ворует, живет на нетрудовые доходы, смогла бы ты начать дело против него?

Замира молчала.

— То-то и оно, — сказал Рустам. — Мы все за справедливость, за то, что жить нужно честно. Но лишь бы нас, наших близких, знакомых не трогали. Хотим чистенькими остаться. Говорим абстрактно. Обличаем, если то, что нужно обличать, не наше. Где же в таком случае справедливость? Не можем же мы осудить своих близких! Силенок не хватает!

— Рустам, — не выдержала напора Замира, — выходит, что и ты... Ты сам не решил для себя, что выбрать! Твоя Валя...

— Валю не трогай,—резко перебил ее Рустам.—Говори обо мне что хочешь, но ее не касайся! Не надо! Я сам! Сам! Только я...

Последние слова он произнес тихо, почти умоляюще

— Скажи, Рустам, ты когда-нибудь думал всерьез о будущем? Я имею в виду, после того, как ты уехал из дому? Представлял, что тебя ждет?

— Думал,—сказал Рустам,—даже слишком часто. Голос его звучал иронично.

— Кончу институт, аспирантуру. Защищу диссертацию, а там...

— Ты все решил, смотри-ка! Наверное, уже и тему выбрал, с которой в аспирантуру поступать?

— При чем здесь тема? — вспыхнул Рустам. — Тема! Выберу тему. Поступлю, а там видно будет.

— Что видно будет?

— Ничего. Вот так, — выдохнул Рустам в раздражении, — чего ты ко мне привязалась? Практикуешься, что ли, пригодится в будущем?

Замира быстро взглянула ему прямо в глаза и тут же отвела взгляд. Опять замолчали. Так и прошли весь квартал мимо здания театра, парковой ограды.

— Так что, после института аспирантура, диссертация

ция? — первой не выдержала Замира. — Останешься там? Не вернешься?

— Не знаю, — отрывисто ответил Рустам.

— Не знаешь? — повторила вопрос Замира.

— Да, не знаю еще!

— Раньше ты все знал, — сказала Замира, — знал, чего хочешь, что будет.

— А если и так? — почти закричал Рустам, понимая ненужность своего озлобления. — Если и останусь, что из того?

— Ничего, — сказала Замира. — Ты сам себе хозяин. Муж... Только мне кажется... Будешь ли ты счастлив? И мать, как ты ей скажешь? Она никогда не согласится уехать, бросить дом.

— С чего ты взяла, что я хочу остаться в Москве навсегда?

Рустам нервничал. Так, как будто это она виновата во всем, что случилось.

— Я сам ничего толком не знаю, а вы уже все решили за меня...

Они остановились возле четырехэтажного дома.

— Все, — сказала Замира и протянула ему руку. — Спасибо, что проводил. Теперь я сама.

Рустам молча смотрел на нее и будто не видел протянутой для прощания маленькой руки.

— Постой еще немного, — попросил он вдруг и покраснел. Отвел взгляд, чтобы скрыть смущение. Шел, злился на нее, хотел, чтобы быстрее все кончилось, а пришло время расставаться, и сразу стало тоскливо. Откуда-то сверху из открытых окон слышалась мелодия Шуберта. Играл ансамбль скрипачей.

Он прислонился к горячей стене. Мелодия кончилась. Кто-то закрутил шкалу настройки. Свист, бульканье приемника, обрывки речи пронзили тишину.

— О чем ты думаешь?

— Ни о чем, — сказал Рустам. — Хороший вечер.

Он не знал, о чем говорить. Просто не хотелось ему сейчас расставаться.

— Замира, я...

Вдруг он замолчал. Страшно знакомая мелодия сначала тихо, потом чуть громче, чище донеслась до них. Певица — ее голос нельзя было спутать ни с какой другой — Алла Йошпе пела под аккомпанемент оркестра электроинструментов.

Дождь идет тепло и тонко,
Как поет какой-то робкий,
Ненавязчивый мотив.
Вальсом первого свиданья,
Первых страхов, ожиданья
Нас с тобой соединив.

В лужах спят деревья-цапли,
На земле танцуют капли,
Словно сеть прозрачных нот.
Вальс неведомых открытий
Золотые свяжет нити.
Мы простимся, ночь пройдет...

— О чем ты сейчас думаешь?

Рустам непонимающе посмотрел на Замиру, тряхнул головой, отгоняя воспоминания. Скажи он сейчас, о чем думал, обиделась бы. Усмехнулся в душе.

— О том, что люди расстаются одни, а когда встречаются через несколько лет — они уже другие, — сказал он.

Приемник щелкнул и замолк. Рустам помолчал немного, словно прислушиваясь к отголоскам песни, которая звучала еще в нем, и сказал:

— Почему люди не верят в настоящее, в то, что рядом? Ведь все беды человека, мне кажется, заключены в том, что он любит мечтать. Мечтает о своей «жар-пти-

це», о какой-то неземной любви... А потом, оказывается, что все не так.

— Не мечтай.

— У тебя нет настроения со мной разговаривать?

— Ты... ты счастлива сейчас?

Голос Замиры дрожал.

— Тяжело мне, — говорил Рустам медленно, будто прислушиваясь к своему голосу, не дрогнет ли он, не сфальшивит ли. — Надоело все.

— Отвык. Заскучал у нас. Быстро.

Замира говорила как и прежде. Сухо, чуть насмешливо.

— Перестань, ведь я по-хорошему, а ты!

— Не думай, — сказала Замира мягко. — Все станет на свое место. Скоро уедешь. Одно скажу, трудно тебе будет, очень трудно.

— Но я люблю ее, — сказал Рустам.

— Нашел, значит, свою «жар-птицу»?

— Да, нашел, — набычившись, сказал Рустам. — И это главное. Все остальное потом, она тоже любит меня, поедет за мной, куда я захочу.

— Поедет ли? Из столицы-то?

— Если любит — поедет.

— Значит, ты сам еще не знаешь, любит она тебя или нет! — засмеялась Замира. Потом вдруг осеклась, странно как-то посмотрела на него и, помолчав немного, стала прощаться.

Рустам медленно возвращался домой, в который раз за сегодняшний вечер он пробовал разобраться в себе. Почему задавал он себе столько вопросов, почему ему страшно? Почему у него такое чувство, будто он остался один, никого рядом нет и не будет? Во всем городе, на всей земле никого! Пусто. Пустота в нем самом — и это еще страшнее.

Вот и сейчас: никого вокруг — и тишина. Город

будто вымер. Ни единой живой души. Только твои шаги. Ты слышишь, как они разрывают тишину. Эти звуки, как выстрелы игрушечного пистолета, стреляющего бумажными пистонами. Ты стреляешь и стреляешь. Не боишься, что можешь потревожить чей-то сон. Ведь кругом пустота, ты один. Ты хозяин ночного города, ночи.

Ты один... один... один...

Это говорят твои шаги.

Говорит эхо.

Оно с тобой. Бежит за тобой, бежит сбоку, впереди.

Оно как мяч. Отскакивает от встречных зданий, столбов, деревьев. Отскакивает и медленно пропадает в пространстве. Растворяется в воздухе, шорохе листьев. Но твои шаги рождают новые звуки, которые так же, бумерангами, возвращаются к тебе и так же незаметно пропадают. Ночь и одиночество окружают тебя...

А через неделю пришла телеграмма от Валентины: «Приезжай. Не могу без тебя». Засуетился. Теперь появился предлог для отъезда. Не знал, как оправдаться перед матерью. Чувство вины перед ней преследовало его на протяжении этих хлопотливых дней. Если честно, то это чувство появилось давно, с отъезда Валентины, с мыслью о том, что ему хочется уехать вслед за женой, что остается он из-за чувства долга. А обязанность всегда мучительна. И когда, наконец, он оказался в самолете, когда он увидел город сверху, это чувство охватило его с новой силой. Он смотрел в иллюминатор, видел паутинки улиц, карты хлопковых полей. Широкая, похожая на канал шоссейная дорога разрезала поля на две половины, бежала в сторону гор и терялась где-то между ущельями. Рустам смотрел вниз и думал о том, что его мучило. Не мог объяснить себе, в чем в сущности ему винить себя? Не мог, и потому было еще больнее, тоскливее.

— «Ведь месяц, почти месяц побыл, — говорил он себе. — Сколько еще можно! Не один же я теперь! Женат как-никак. И дел хватает. Могут быть у меня свои дела? Могут. И так... приехал».

Подумал, и самому вдруг стало противно от этих мыслей. Вместе с тем нет-нет да и появлялось внутри что-то похожее на страх, когда думал о том, что ждет его дома, в Москве.

И вдруг он страшно пожалел, что не остался с матерью до конца каникул. Когда еще он придет домой? Опять домой! Сколько у него домов-то этих?!

Мысленно вернулся назад, перед глазами мелькали лица матери, Замиры, Саиба... И особенно отчетливо вспомнился разговор с матерью. Это было после отъезда Валентины. Он проводил ее, вернулся домой и сразу уединился в своей комнате. Не раздеваясь, улегся на диване и не слышал, когда вошла мама. Даже не вздрогнул, когда она села рядом и провела ладонью по лицу. Будто знал, что мама придет, сядет и вот так легко, едва ощутимо погладит, как делала это давно-давно, в далеком детстве, когда ему было очень плохо. Он ощутил прохладу ее ладоней и с трудом сдержал слезы, так ему вдруг стало жалко всех, и в первую очередь себя и маму вот. Ведь и она, наверное, страдает...

— Ученым хочу тебя видеть, — сказала мама тихо. — Никто в роду нашем не... Дурные деньги — плохие деньги.

— А я что? Что вы на меня все навалились? — закричал он.

— Не слушай Саиба, — говорила она с болью в голосе. — Его жизнь — не твоя жизнь. Не хочу, чтобы ты... лучше сразу меня... прятать... в могилу.

Мама замолчала. Слезы покатались по ее щекам.

— Нет. И из могилы бы пришла к тебе.

— Что вы, мама, все о смерти? — начал успокаивать

вать ее Рустам. — Еще и правнуков увидите. Правнучку!

Рустам попробовал думать о чем-то другом, но мысли его снова возвращались к минутам его отъезда. Вот мама. Она вышла на улицу, чтобы проводить его. Сгорбленная, еще более постаревшая за те несколько дней, в которые решился его отъезд. Она будто ждала этого и не препятствовала его решению.

— Не надо ехать в аэропорт, — говорил он, обнимая ее на прощанье. — Я сам. Лишние хлопоты.

— Сынок!..

Он почувствовал слезы на своей щеке.

— Опять! — с трудом скрывая раздражение, сказал он. — Сколько можно? Приеду я. Сказал, приеду — значит, приеду. На каникулы. Зимой. Только не надо плакать, мама!

— Ничего, сынок! Это ничего, я сейчас... Я просто... Боюсь я, — говорила она, торопливо вытирая слезы и пробуя улыбнуться. — Сердце... говорит — не увижу я тебя больше...

* * *

Мама!.. Хорошая ты моя!

Рустам будто наяву видит — вот она стоит рядом с Замирой. Она успела в самый последний момент, когда он уже собирался сесть в такси. Запыхалась, бежала всю дорогу. И сейчас стоит бледная, с трудом переводит дыхание. Наверное, думала поехать в аэропорт, но он не предложил. Не хотел. Сама же она попросить не решилась. Так и простились. Они смотрят на то место, где только что стояла машина. Даже пыль, которая поднялась из-под колес, не успела осесть. Он видит мать, видит ее натруженные ладони, которые она нервно потирает и прячет под мышками...

Он действительно не приехал к матери ни на зимние каникулы, ни на летние. Сначала помешала беременность Валентины. Она стала еще более раздражительна, капризна, боялась остаться одна. Потом родился Владька, и о поездке в Узбекистан в ближайшие год-два не могло быть и речи. А тут еще и преддипломная практика. Отложили поездку еще на неопределенное время. «Приеду после защиты диплома...» — писал он матери в очередном письме...

...Каримов почувствовал вдруг сильную жажду. В горле пересохло, так что больно было сделать глоток.

— Слушай, Азия ..

В полуметре от Каримова пьяно раскачивался незнакомый мужчина лет тридцати пяти, смотрел на него осоловелыми глазами и говорил:

— Не думай, я сам азиат... видишь? — он с силой начал растягивать глазницы. — Мамка моя с... ваших мест, чистокровная татарка... не веришь?

— Верю, — сказал Каримов, улыбаясь. — Верю, очень похож.

— И я говорю, — обрадованно заговорил незнакомец и вытащил из кармана брюк бутылку с вином. — Пей!

Каримов покачал головой, отстраняя от себя руку с вином.

— Пей, если человеку плохо, — за километр видно... Я тоже... Понимаешь, горе у меня! — говорил он, отирая со лба пот. — Друг у меня был... такой парень!.. Такой парень!.. И из-за чего? Из-за зуба, маленького такого зуба, ты понимаешь!

Он потряс перед лицом Каримова кончиком мизинца и, сунув ему чуть ли не в рот бутылку, повторил:

— Пей, говорю, с вином всегда легче, пей!

Каримов взял бутылку, приложился к горлышку, сделал ложный глоток, сморщился для видимости и вернул ее хозяйцу.

— А какой был!.. Шпалу схватит и — как дубинкой, не подходи! Зуб, все от него, — говорил тот, оттягивая нижнюю губу и показывая Каримову свои черные прокуренные зубы. — У тебя как с зубами? Покажи... Хороши!.. А вот друг... я пойду... Пока!

Он махнул рукой и поплелся в сторону туннеля в метро.

«Смерть,— думал Каримов, провожая его взглядом, — и тут смерть. Всегда она неожиданна... Но... что было бы, знай человек точно день и час своей смерти? Нет, в этом даже есть нечто гуманное, лучше не знать ничего. Легко умирать, когда не ждешь ее...»

Дернулась несколько раз левая бровь. «К чему бы это?» — подумал Каримов, смачивая слюной пальцы, как это делала его мать, и провел ими по бровям: «Дурной глаз — мимо...» И так три раза. «Какой же глаз запечатал мою жизнь? — усмехнулся он. — Присметам стал верить, остерегаться... что дальше будет... хотя... верить можно во что угодно».

Вспомнились строки одного из последних писем матери: «Сынок,— писала она, — во всем нужно иметь терпение, а в семейной жизни особенно. Жена у тебя молодая, все в твоих руках. Жена сейчас как глина — мягкая, податливая... все от мастера зависит, от его умения, что пожелает, то и вылепит. Только любви побольше и нежности...»

— Поздно, мама! — прошептал Каримов. — Поздно!

И, стиснув зубы, подумал: «Неужели... высохла эта глина?»

...А потом была телеграмма. Короткая, в пять слов: «Срочно вылетай. Маме плохо. Саиб». Телеграмму послала Замира. Не решилась поставить свое имя.

Почту привезла Таисия Петровна. Он и Валентина

в это время были на даче. В воскресенье он получил известие, вылетел же через день. Во вторник. «Что случилось? Просто так не написали бы! Что с мамой?» Эти вопросы мучили его всю дорогу. «Ничего страшного, — успокаивал себя. — Заболела. С кем не бывает, возраст уже». Но в груди разрасталось что-то холодное, тяжелое.

Наконец он в такси. «Гони на всех!»

Машина резко затормозила у калитки. Издалека было заметно какое-то оживление у входа во двор. Старики в национальной одежде, пожилые мужчины в тубетейках, парни... Они сидела у самого входа. Вдоль стены стояло несколько скамеек. Несколько секунд Рустам неподвижно сидел в машине. Ошарашенный. Оглушенный. Он не видел, как кто-то бросился к нему. Не чувствовал чужих рук, которые мягко подхватили его с двух сторон, повели во двор. Провожающие бессвязно говорили что-то, успокаивая, но он вырвался.

— Где мама? Мама! — вырвался у него глухой крик. Он еще не верил в то страшное, что случилось. Не хотел верить. Не мог...

— Где она? — прошептал он.

Ему никто не ответил. Куда он ни смотрел, все отворачивались, не выдержав его взгляда.

С силой, словно кто-то мог держать ее с другой стороны, толкнул калитку. Пробежал мимо заголосивших старух, которые рванулись ему навстречу.

— Приехал, мальчик наш... Приехал, а нет мамочки! Покинула она нас! Не придет больше, не увидим мы ее никогда! Чем провинились мы перед ней!

Несколько рук преградили ему дорогу.

— Мама! — крикнул Рустам что было сил. — Мамочка!

Мимо газовой плиты. По узкому коридору. Оттолкнул кого-то. Уй-ди!

Комната мамы, почему она закрыта?

На мгновение замер перед дверью, сильно рванул ручку на себя.

— Мама! — позвал шепотом. — Ма...

Тишина ответила ему жужжанием одинокой мухи. Он шагнул в комнату — будто ничего и не случилось, кровать, на которой она спала, аккуратно заправлена.

Он стоял посредине комнаты, замороженно смотрел на кровать. Кто-то шумно дышал за его спиной. Рустам даже слышал биение чужого сердца. Нет, это его собственное сердце так стучит.

— Где? — крикнул он и обернулся назад, бросился в свою комнату. Но и тут царил полный порядок, и здесь никого не было.

Все стало ясно. До жути просто: он опоздал.

«Опоздал! Опоздал! Опоздал!» — кричал он беззвучно, едва шевеля губами. Не в силах больше сдерживаться, он повалился на кровать, и тут его прорвало. Он забился в судорогах.

— Мама! Мамочка, почему? Почему так? Почему ты ушла! — с хрипом вырывалось у него из груди.

Кто-то вошел в комнату. Скрипнула кровать под тяжестью тела. Он почувствовал легкое поглаживание по плечу.

— Плачь, сынок. Плачь. От слез легче.

Рустам узнал по голосу бабушку Хосилат.

— Почему? Почему вы... я не видел? — выдавливал из себя по слогам Рустам.

— Мы ждали. Целый день. До последнего момента ждали, что ты приедешь, — говорила бабушка Хосилат, — больше нельзя было. Аксакалы не разрешили. Вчера вечером похоронили...

Мама... Неужели это когда-то было? Были ее глаза. Большие, добрые. Они редко бывали злыми. Даже когда она ругала его. До сих пор видит их по ночам, видит смех, который искрится в ее бездонных зрачках. А руки, ее руки! Он и сейчас, кажется, ощущает запах

смуглой загрубевшей кожи. Было ли это на самом деле?

...Каримов невидяще смотрел перед собой. Нижняя губа прикушена — так некогда делала мать, и сейчас он был особенно похож на нее.

Руки, ее руки... Почему он вспоминает именно руки? Стараются их представить себе, мысленно очерчивает линию пальцев. Как будто видит их и не может узнать. И это еще больше мучает его — почему? Может, оттого, что истосковался по настоящей ласке? Говорят, первое, что показывает человеку, как он стареет, — это сентиментальность. Человек начинает вспоминать детство, материнскую заботу. Значит, он начал стареть? Чепуха! Это в его-то годы! Тогда почему же, стоит ему только закрыть глаза, представить ее лицо, глаза, волосы мамы — всю, какой она была на самом деле, как вокруг него воздух наполняется каким-то теплом, дышать становится легче. Появляется такое ощущение, что она рядом. Он даже слышит ее голос, чувствует прикосновение рук. Это как болезнь. Все чаще и чаще пробовал он возвращать эти ощущения, старался быстрее окунуться в них. Вначале даже пугался, что это может стать чем-то вроде болезни, потом махнул рукой. Нельзя же бояться всего на свете.

Каримов часто думал о матери и все не мог понять, почему, говоря о ней с самим собой, он говорит как о живом человеке? И вдруг однажды, проснувшись ночью, понял. Все дело в том, что он не видел ее мертвой. Мама умерла. Умерла давно. Это... теперь это в прошлом — как слово, которое уже произнесено, минута, которая прожита. Остались фотографии, где мама грустила, улыбалась, думала. Осталась память, в которой она сохранилась живой. Мама умерла, но он не видел ее мертвой, и это спасало память. Постепенно в нем сложилось чувство, что она куда-то уехала. Уехала надолго, может быть, навсегда. Живет где-то на краю земли, ей

очень трудно приезжать, но когда-нибудь она выберется и навестит его. Ведь приходит она к нему по ночам, в снах.

Каримов думал об этом, думал, что есть что-то хорошее в том, что он не видел ее мертвой. Наверное, оттого, что он не видел ее в гробу, образ ее в памяти сохранился живым.

Первые месяцы, когда умерла мама и он возвратился в Москву, проходили как во сне. Он совсем не ощущал времени, и память, кажется, не сохранила отчетливо ни дней, когда сдавал госэкзамены, ни торжества по поводу вручения диплома. Дома тоже старались относиться к нему заботливее, тем более, что теперь, со смертью матери, перестал рваться куда-то. Теперь он полностью принадлежал только семье, где о матери никогда не вспоминали и раньше, будто и не было ее, а теперь тем более. И он перестал говорить с Валентиной об отъезде. Со смертью матери словно пропала в нем всегдашняя тяга домой, в родной город! Представлял себе пустой дом, холодные комнаты... Страшно было подумать, что нужно будет заново обживать заброшенный дом. А потом пришло письмо из горисполкома. Старый дом сносили, и ему предлагали квартиру в новом микрорайоне. Он не ответил на письмо...

Работать Рустам стал в ремонтном цехе. Работы хватало. Вначале было трудно, ощущал нехватку опыта. Но время часто становится своеобразной палочкой-выручалочкой, и в конце концов он обжился, пообщившись с коллективом, ему помогали охотно и дружески. Да и Трофимыч, с которым он подружился больше всего, во многом поддерживал его. Сторожку он тоже не бросил: дежурство было необременительным — в ночь, через двое суток. Тишина, теплое помещение. Привык уже, сам себе хозяин, один на один со своими мыслями. Не заметил, как бежало время, и вот — по-

зади десять лет. Десять лет! Десять лет, как умерла мать, как окончил институт, как впервые переступил проходную завода. Десять лет, целая жизнь. Теперь его зовут Рустам Садыкович. Владька в четвертый класс перешел, бабка который год мечется, чтобы устроить внука в школу музыкально одаренных детей. Каримов усмехнулся. Если честно, то у Владьки, кажется, вообще нет никакого слуха, а вот в математике он силен. И вспоминая, с какой легкостью Владька щелкал задачки и примеры, думал, что никогда не убедить в том Таисию Петровну. «Хватит с нас одного инженера,— говорила она Каримову, — а музыкой нужно заниматься, видела я, как они живут, музыканты! По заграницам всегда...»

Может, она и права, музыка — не заводской цех, уж он-то знает, помнит, с каким трудом вживался в работу после института. Первые годы все мучился, метался, не мог места себе найти, подумывал даже бросить работу, найти другую... потом понял — не в заводе дело, в нем причина, в самом Каримове. Как понял, стало легче. Шло время, привык к заводу, а однажды ощутил, каждой клеткой своей почувствовал, что здесь, в этом коллективе, в этих стенах — его дом, его близкие, его друзья. Теперь он спешил быстрее покинуть стерильную комнату с мягкими коврами, паласами, импортной мебелью, дорогой посудой... Ему хотелось на свежий воздух, в свой цех, к ребятам, поговорить с Трофимычем, окупиться в гул работающих станков...

И невольно в душе поднимался вопрос: почему он бежит из дому? В семье все наладилось, если не думать о последней ссоре: и опять-таки — разве это ссора? Просто Валентина против второго ребенка, и нельзя ее осуждать: с Владькой намучилась, пока он в школу пошел... Так чем же он недоволен? Все у него есть: и сын, и жена... хорошая квартира, дача (пусть Андрей Ивановича, но не все ли равно? «Наследником» он на-

зывает любимого внука. Вот и «Волгу» не так давно купили и опять же: «Все для внука! Наследника нашего!»).

Каримов подумал о сыне, и словно ком подкатил к горлу: все дальше и дальше отдаляется от него сын, в котором все яснее проявляется то неуловимое, нехорошее, что есть в Валентине, против чего он раньше пробовал восставать. Раньше? Неужели он смирился?!

Вспомнился блеск в глазах Владьки, когда он говорил о деде...

Дед, бабушка, мать — все близки ему, только не отец. «Это мне дедушка купил!.. А бабушка говорила... Мама не разрешила...» — слышится Каримову капризный голос сына. «Ребенок еще, что он понимает!» — пробует успокаивать он себя, но ненадолго. Вот он, Андрей Иванович, его масляные глаза, когда он говорит: «Как без машины-то? Наследник растет, зачем ему ножки свои калечить!» — «Правильно, Андрюша! — подпевает ему Таисия Петровна. — Чем мы хуже других?»

«Купили машину, теперь Владьку и вовсе не оторвать от деда!» — горько усмехается Каримов. Что он может дать сыну взамен?.. В «век машин и... газа», — вспомнил он любимую присказку тестя, который, в отличие от своего зятя, мог многое: кроме машины и газа (он и газ на дачу умудрился провести), теперь стал хлопотать и о телефоне. И выхлопочет! Он и Таисия Петровна... Вот она, щуря свои накрашенные глаза, ядовито-ласково говорит соседке:

— Что ни говори, зять мой ничего, грех зря жаловаться... лишнего в рот не берет, разве что по праздникам, да и то, только так... приложится. Одно плохо — курит, но, слава богу, не так, как другие — угореть можно. Любит его моя Валя, а то бы... Не мы — неизвестно что из него вышло бы! Приехал черт-те знает откуда, ни культуры тебе, ни понятия какого... фужер хрустальный взять в руки боялся... Но Валентина у

нас хват! Взяла его в руки... а то у них там законы: муж что хочет, а жена ни гу-гу!

— Вежливый он у вас,—говорит соседка. — Поздоровается всегда...

— Это Валя его пообтесала, сколько живут-то!.. Вот и на заводе его ценить стали, повышение обещают.

— Слышала, он на двух работах?— елейным голоском спрашивает соседка. — До денег жаден?

— Во! — обрадованно подхватывает Таисия Петровна. — И мы тоже сколько его отговаривали... хватает вроде, не хуже других живем... а деньги... не гонимся мы за деньгами. И неожиданно: — Какие это деньги-то! Срам один!..

— ...Скорый поезд «Андижан—Москва» отправляется с первого пути...

Карим вздрогнул. «Мой! Мой поезд!»

Растерянно смотрит на состав поезда: вагоны дернулись и бесшумно поплыли вдоль перрона.

Взглянул зачем-то на часы, потом опять на удаляющиеся вагоны, которые начали набирать скорость. «До-мой! До-мой!» — Каримов медленно пошел вперед.

— Эй! Прыгай, зачем так? — крикнул из окна кто-то и словно подстегнул его.

Каримов пошел быстрее, все еще не зная, что делает, пытаюсь бороться с собой.

«Зачем? Куда меня несет? Ведь никого... там нет!..»

«Вперед! — кричало у него в груди. — Там — дом! Там — все! Ты будешь счастлив! Вперед, еще не поздно, ты успеешь...»

Каримов почувствовал, что больше не может сопротивляться этому зову, что этот — другой человек, который сидит в его душе, побеждает... победил!

Он рванулся за последним вагоном.

— Давай! Давай! — кричали ему из открытых окон, провожающие освобождали ему дорогу, подбадривали: быстрее, быстрее!

Состав набирал скорость.

«Была не была!» — подумал Каримов, сделал последний рывок, нагоняя вагон. Проводник скользнул по нему равнодушным взглядом, посторонился.

«Домой! — билась в голове единственная мысль. — Домой! Остальное потом!»

Он не думал о том, что у него нет билета и денег, что его высадят на первой же станции; не думал, что скажут дома, на работе — ни о чем не думал. Он поедет домой — вот что жило сейчас в нем.

Каримов поймал рукой поручень вагона...

«Владька! Что будет с ним?» — ужаснулся он.

«Вот! Вот его истинное лицо! — будет кричать Таисия Петровна. — Отец...»

Перед ним возникло заплаканное лицо жены: «Зачем ты это сделал, Рустам?»

«Надоело! — Глаза Андрея Ивановича мутные, злые. — Сбежал!..»

«Валя! Она — одна без него! Отдать ее, Владьку?! — будто кто-то рвал внутренности из его груди. — Они будут рады!..»

— Нет! — крикнул Каримов и отпустил поручень.

— Держи! Прыгай... давай... — закричал проводник, высовываясь из вагона и протягивая руку.

Каримов благодарно улыбнулся, помахал рукой и медленно пошел к выходу из вокзала. Часы показывали половину восьмого, и нужно было торопиться на дежурство.

РАССКАЗЫ

На съемках

*Народному артисту республики
Бейбулату Ватаеву*

— Да он смирный, — насмешливо наблюдая за мной, говорил Иван Назарович. — Ей богу, смирный! А ныне совсем обленился. Посмотри на него, еле шевелится. Презирает... А? Амур!

Укротитель слегка отстранил меня и шагнул к клетке.

— Посмотри на него, ожирел, работать почти разучился, — говорил он, открывая задвижку и входя в клетку к барсу. — Хотя случается, и нападает на него... Иногда!..

Иван Назарович любовно коснулся зверя рукой. Барс и вправду был великолепен. Он словно и не замечал рядом своего наставника. Лежал, вытянув длинное сильное тело, изредка моргая прищуренными зеленоватыми, почти бесцветными глазами. Укротитель погладил по лоснящейся беловато-серой шерсти, на которой густо лепились черные пятна, легко потормошил за загривок.

— Амур-р-р! Амур-р-чик! — приговаривал Иван Назарович, совершенно забыв обо мне.

Я смотрел на его быстрые нервные руки, на его загорелое лицо с длинными, цвета спелых колосьев усами, которые подрагивали, когда укротитель улыбался, обнажая крепкие, но редковатые зубы. Я не видел его глаз в эту минуту, но чувствовал, что они смеются. Ему, наверное, было приятно чувствовать свое превосходство.

во — превосходство невысокого, несильного человека над такой детиной, как я, возвышающимся над ним, как платан над акацией. Я смотрел на Ивана Назаровича, на барса, который в эту минуту больше походил на кошку, огромную, ленивую, но все же кошку, представлял себе тот день, когда я должен буду встретиться с этим хищником. По сценарию я должен встретить в горах барса и вступить с ним в борьбу безоружным. И вот я стою и не могу отвести глаз от своего партнера, новой звезды кино.

«Зритель ни в коем случае не должен увидеть или почувствовать ни малейшей фальши,—вспомнил я слова режиссера, с которым мне приходится работать, — все должно быть правдиво, натурально...»

Хорошо ему рассуждать о правдивости, о натуральности, когда не он, — другой должен встречаться со зверем один на один. Конечно, говоря о встрече «один на один» — это я хватил лишку, но барс есть барс, случись что, он думать не будет.

Все эти мысли сменялись одна другой, пока я стоял у клетки с барсом и смотрел, как ласкает его Иван Назарович, которому ничего не страшно и который не один десяток лет провел в обществе таких вот котят... Котят... Это его словечки. Ничего себе «котеночек».

Я смотрю на серовато-дымную лапу, которая сейчас расслабленно покоится на досках, но которая, по рассказам, в состоянии перебить одним взмахом хребет молодого тура. С моего места не видно когтей. Сейчас они спрятаны между пухлыми подушечками, но в минуты опасности или охоты они страшнее ножей...

Вдруг барс открыл глаза, прямо, словно прочитал мои мысли, взглянул на меня, зевнул, обнажая огромные острые клыки, и встал. Я почувствовал, как внутри у меня что-то ухнуло, протяжно забурчало.

— Будешь приходить со мной каждый день, кормить его, чистить.

Голос укротителя вернул меня к действительности. Я автоматически кивнул в знак согласия и в ту же секунду с ужасом представил себе, на что дал согласие.

— За неделю и Амур к тебе привыкнет, — продолжал успокаивать меня Иван Назарович, — и ты к нему... Все будет как надо.

Он засмеялся и звонко щелкнул языком, отчего Амур мгновенно насторожился и бросил на меня такой взгляд, что я чуть не поперхнулся.

Неделю я вместе с рабочим, специально приставленным к барсу, и Иваном Назаровичем каждое утро появлялся возле клетки, присутствовал при кормлении и даже пробовал гладить зверя. Правда, держался я преимущественно за спиной укротителя, иногда осторожно подкладывая Амуру кровавые куски мяса. Ел он всегда не торопясь, лениво скашивая на меня кошачий глаз, потом, наевшись, садился на задние лапы, презрительно, как мне казалось, фыркал, облизывался, и, зевнув, укладывался дремать. Делал он это всегда так спокойно, так демонстративно важно, как будто в клетке никого не было. Но я чувствовал, что вместе с тем — по всей его небрежной повадке, по медленному, томительному потягиванию, — это был зверь, хищник, которого никогда, ни в какую минуту не покидала животная настороженность к нам, к тем, кто возле него находится. Я видел, как в прозрачно холодных глазах его вспыхивали и туг же гасли тревожные и угрожающие искры...

И вот — день съемки...

В павильоне, освещенном большими и малыми юпитерами, жарко. Только иногда повеет вдруг леденящим холодом — двери павильона выходят в сад, где на морозном ветру звенят сосульками застывшие яблони.

Пещера, возле которой я буду бороться с барсом, сработана декораторами как настоящая, даже картонные горы за ней, умело подсвеченные, кажутся загадоч-

ными и грозными. Режиссер, плешивая развалина (конечно же, это я от злости, что через несколько минут окажусь в объятиях хищника. Понимаю корни своей злости, и злуюсь еще сильнее), что-то быстро говорит мне, советует, но я ничего не слышу, хотя и киваю головой. Не слышу, потому что смотрю туда, откуда должен по команде появиться барс. Сейчас раздастся команда, и я войду внутрь ограды. Все, что потом увидят зрители на экране, — и заросший кустарником склон горы, и увитая диким хмелем пещера, обнесено железной, высотой в два с половиной метра, решеткой. Вокруг наготове с брандспойтами стоят пожарные. Иван Назарович с хлыстом в одной руке и пистолетом в другой спрячется где-то поблизости. Сейчас он с Амуром. Я даже слышу его успокаивающий голос.

Иван Назарович оказывается рядом со мной, дает мне последние указания:

— Ты его, Амурчика, лапы перехватывай! Они, когти-то, обстрижены, но все равно...

Хорошенькое успокоение нашел напоследок укротитель, усмехаюсь я про себя. Оглядываюсь, нахожу глазами Амину Ташаеву, героиню, которую я люблю и ради которой мне нужно сражаться с барсом. Сейчас она сидит в кресле с режиссером, беззаботно закинув ногу за ногу, и жует пирожное. Ее усыпанный блестками наряд режет мне глаза. Я не выдерживаю и срываю злость на ней:

— Ты опять забываешь, что после этих пирожных тебя на руки не поднять, а? Только знаешь, что жуешь и жуешь! А кому носить тебя на руках, а? Ему, что ли?

Я смотрю на режиссера. Он поднимается, подходит ко мне. Я вижу Амину, которая кричит из-за его спины:

— Как ты будешь таскать меня, если от страха ослабел? Тут не пирожные виноваты... Тоже мне, Рустам!..

— Тише, тише! Вы же не на базаре! — поднимает руки режиссер. — Начинаем!

Я сижу у пещеры. Где-то наверху стрекочет камера. То ли от жары, то ли от волнения у меня со лба на ладонь падает тяжелая капля.

— По-о-шел!.. — раздается команда режиссера.

Я встаю и начинаю медленно шагать по площадке возле входа в пещеру. Я жду свою возлюбленную... Украдкой посматриваю в ту сторону, откуда должен появиться непрошенный гость. И вот с противоположной стороны под свет юпитеров выходит Амур. Он идет мягко, неслышно, как настоящая огромная кошка. В тишине раздается команда Ивана Назаровича. Амур останавливается, поднимает голову, оглядывается и вдруг направляется прямо ко мне.

По сценарию он должен зарычать, но он приближается ко мне медленно, не издавая ни звука. Я знаю, почему он не рычит, но знание это мало помогает мне. В это время где-то сбоку щелкает кнут, тонко, но резко, точно выстрел из детского игрушечного пистолета. Амур резко останавливается и отзывается рычанием. Оно сдавлено. Барс только скалит зубы: пасть у него перетянута капроновой леской.

— Ну! Вперед! — слышу я команду режиссера и делаю шаг к барсу.

— За лапы его!.. За лапы! — кричит Иван Назарович.

— Ну, давай! Да не бойся же! — голос режиссера переходит в крик.

Я чувствую тяжесть в ногах, тело плохо слушается меня, словно одеревенело. Краем глаза замечаю: режиссер будто прилип к железу решетки, рядом — вытянувшееся лицо Амины, которая так и не доела свое пирожное, так и держит его в руке, смотрит с какой-то жадностью, которая перемешивается со страхом. У меня еще хватило сил внутренне усмехнуться: вот бы вас сюда...

Амур подходит ко мне почти вплотную.

Я глубоко вдыхаю в себя воздух и судорожно бросаюсь к нему. Через секунду мы уже барахтаемся с ним посреди площадки у самого входа в пещеру. Обхватив левой рукой его передние лапы, а правой поймав барса за шею, я, словно борец на мягких матах, стараюсь изо всех сил свернуть ему шею и повалить на землю. Я чувствую, как барс, сначала нехотя, но постепенно все настойчивее и энергичнее пробует высвободиться из моих объятий. «Когтей у тебя нет, дорогой!—думаю я с некоторым даже злорадством. — Пасть тоже вышла из игры, так что придется нам с тобой на равных...» Я начинаю входить в азарт и все смелее имитирую борьбу. Ноги у меня уже твердо стоят на шероховатой поверхности «скалы». И все же страх, не проходящий до конца страх сковывает мои действия.

— Смелее! — слышу я режиссера. — Еще дубль!..

— Все в порядке! Так и действуй! — подбадривает меня Иван Назарович.

Я краем глаз замечаю его рядом с режиссером и Аминой. Они спокойно о чем-то переговариваются, показывая в мою сторону.

Легкое опьянение, словно после бокала шампанского, овладевает мною. Я почти счастлив. Амур послушен моим рукам, в которых я сейчас ощущаю такую силу, которая способна сокрушить настоящего дикого барса, яростного и готового сражаться до последнего. «И мы, сплетясь, как пара змей, обнявшись крепче двух друзей, упали разом, и во мгле бой продолжался на земле», — читаю я сквозь зубы, боясь на секунду расслабить объятия. Я чувствую в себе Рустама, древнего богатыря Рустама, которому не было равных на земле, который был сильнее любого зверя. Я чувствовал себя человеком, ликующим, побеждающим в смертельном поединке. И новые строки пробивались сквозь сжатые зубы, словно что-то сверхъестественное, какая-то тайная сила помогала мне, вырываясь с этими строками на-

ружу: «Я пламенел, визжал, как он; как будто сам я был рожден в семействе барсов и волков... Как будто с детства мой язык к иному звуку не привык...»

— Стоп! Камера, стоп! — раздается команда режиссера, и тут же: — Да хватит, тебе говорят!

— Перестань мучить зверя!

Это уже Иван Назарович. Не помню, как он очутился рядом со мной. Только чувствую, как он отдирает мои руки от шеи барса, освобождает своего питомца.

Наверное, он врывается вовремя. В суженных, как перед прыжком, глазах Амура горит ярость. Я смотрю на него и вижу, что леска ослабла или же где-то порвалась, потому что пасть барса оскаливается больше положенного. Я вижу огромные желтые клыки. Замечаю, как Амур молотит хвостом по земле, а лапы прочно уперлись в землю — вспомнилась юность. Так перед атакой ищут твердого положения боксеры, чтобы эффектно, одним ударом закончить бой. И я невольно выставляю вперед руки, чтобы защититься, двумя руками перехватить горло зверя еще в прыжке, чтобы не дать свалить себя...

— Назад!

Резкий удар бича взметывает между нами пыль.

Команда дрессировщика делает свое дело. Амур, вздыбив серую, дымчатую с желтым отливом шерсть, оседает, вертит головой, подается назад. Глаза его неотрывно устремлены на меня.

Еще раз щелкает и взвивается между нами бич.

И словно спадает напряжение. Амур поворачивается и отходит. Я медленно перевожу дыхание.

— Где? Где этот дурак?

Я прислушиваюсь, все еще боясь отвести взгляд от барса. Узнаю могучий бас Гиви Чиладзе. Только он может так реветь, что кажется, еще немного — и бара-

банные перепонки лопнут. Мой друг, мой бесценный Гиви, где же ты был раньше?! Не знаю, что со мной случилось, но такое состояние вдруг охватило меня, такое успокоение нашло на меня, будто спал, увидел плохой сон и проснулся. Проснулся от крика Гиви. Я уже вижу его. На нем новенькая канадская дубленка, распахнутая на груди, словно ему нипочем лютый январский холод. Гиви, где ты был раньше?! И иду ему навстречу. Если бы он был здесь — ничего, ничего мне было бы не страшно. Два метра двадцать сантиметров росту, плечи — не обхватишь, такому не то что барс, два, три, пять барсов не страшны. Разорвет, как кроликов. Будь он здесь, ничего бы я не боялся. Гиви здесь, значит, все будет хорошо.

Я выхожу из ограждения. Он еще не видит меня. Бушует. Бросаю взгляд назад. Иван Назарович что-то тихо говорит Амуру, который лежит смиренно, слушает, положив на лапы крупную кошачью голову и обиженно прикрыв глаза.

Гиви не видит меня. Он стоит рядом с режиссером. Я слышу, как он ожесточенно говорит ему.

— Что? Получилось? Все хорошо, или дубль повторить хочешь? — в горле его что-то кипело, перехватывало дыхание. — Получилось или нет, скажи мне сейчас? Не получилось, так покажи! Ты сначала должен показать, как надо делать, молодому актеру! Зайди к барсу и покажи! Покажешь, да?

Я вижу, как он хватается режиссера за плечи, поворачивает к заграждению и пытается втолкнуть в запасную дверь внутрь, туда, где видит укротителя и барса, с которого уже сняли капроновый намордник и который теперь время от времени рычал громко и обиженно, словно жалуясь своему наставнику...

— Да получилось, получилось, говорят тебе!..

Режиссер отбивался не на шутку. Он хватается руками за железные прутья решетки, умоляюще глядит на

окружающих. «Уберите от меня этого медведя!» — говорит его взгляд.

— Прекрати! Прекрати свои выходки, Гиви! — кричит он даже слишком громко.

— Гиви, я здесь!..

Гиви тут же отпускает режиссера и поворачивается ко мне.

— Ва-а! — радостно кричит он, раскрывая свои объятия. — А мне сказали, что тебя барс съел... Так я решил... Как же так? Моего лучшего друга барс съедает совершенно безнаказанно, а тот, кто на это дело его посылает, жив и ничего с ним не случилось!.. Обидно и очень даже нечестно!.. Надо, думаю, восстановить справедливость и вот приезжаю сюда со свадьбы своей двоюродной сестры!.. Как же так, а? Как ты мог на это согласиться?

Мы обнимаемся, как после многолетней разлуки, обнимаемся так, что хрустят кости.

— Живой, как видишь! — смеюсь я, похлопывая Гиви по спине. — Молодец, что приехал. Не приехал бы — точно барс меня бы съел. А так, услышал твой голос и видишь...

Я махнул рукой за изгородь.

— Забился в угол и даже голоса не подает.

Гиви самодовольно хохочет.

— Поехали ко мне! Такой бочонок вина... Специально для тебя достал, м-н-п-ке!

Я смотрю на режиссера.

— Иди! — машет он рукой. Видно, помял его Гиви, перестарался. — Все равно ты мне не пужен сегодня!..

— Поехали! — хлопает меня по плечу Гиви. — Видишь, начальство разрешает.

— Подожди, пожалуйста! — прошу я Гиви. Прошу и сам еще не знаю, что хочу сделать. Просто не могу уйти так яросто. Оглядываюсь. Вижу, что Амура уже уводят в клетку. Иду следом. Иду и злюсь на себя, не

знаю даже сам, за что злюсь. Злюсь и все. Злюсь и иду. Иду к клетке.

Амур сидит перед решеткой, глаза его растерянно глядят перед собой. Подхожу медленно. Сколько бы я дал, чтобы хоть на несколько секунд оказаться в его шкуре, именно сейчас, после всего, что произошло... О чем он сейчас думает? Что рождается в его голове? Амур не замечает меня, только уши, нервная дрожь их кончиков говорит, что барс настороже.

Я подхожу к клетке, некоторое время смотрю на него.

— Спасибо, брат!

Слова эти вырвались из меня вдруг. Вырвались совершенно неожиданно, помимо моей воли.

И барс словно услышал меня. Услышал и понял. Повернул ко мне свою голову.

Некоторое время мы глядим друг другу в глаза. Он смотрит на меня не мигая, и давняя, упорная тоска чудится мне в зеленых глазах зверя. И почему-то стыдно, очень стыдно становится мне за картонные наши декорации, за огражденную пещеру, как будто смотрю я на них зелеными глазами усмирленного дрессировкой барса, не первый раз играющего в смешную и жалкую игру с людьми... И этот стыд смешивается с острым чувством какой-то нелепой гордости и стыда одновременно, как будто сегодня я преодолел в себе что-то огромное и непонятное, и в то же время стыд за то, что это все не настоящее, а фальшивое, и гордость моя фальшивая, и сам я фальшивый...

— Ай, что ты там, молишься, что ли? — слышится мне веселый крик Гиви. — Загипнотизировал тебя, что ли, этот барс?

— Иду, иду, Гиви! — отвечаю я, поворачиваюсь и чувствую, как мне не хочется уходить от барса...

Встреча

— Так, значит, все-таки едешь? — Юсуф покачал головой, словно говоря: «Бедовый ты парень, смотри, погоришь когда-нибудь!»

— Лечу. Не еду — лечу! — повторил Кахрамон, с веселым вызовом глядя на друга и дружелюбно улыбаясь ему глазами — озорными, с длинными и пушистыми, словно у девушки, ресницами.

Юсуф шутя вцепился пятерней в густые вьющиеся черные волосы друга.

— У нее ведь муж! Жаль мне этой головы...

— Что же, я ему представляться, что ли, буду? — рассудительно отвечал Кахрамон, становясь серьезным. — Если что — увезу и спрашивать никого не буду! А если и узнает — пусть сюда едет.

— Да-а, ты спрашивать не станешь! Но ведь пойми ты, дорогой: зачем семью разрушать? Девушек тебе мало, что ли? Посмотри — любая за тобой побежит... Да и смену завтра пропустишь...

— Я с мастером договорился уже. Что ты беспокоишься? Лучше займи мне денег, а то ведь, сам понимаешь, муж у нее инженер...

— Ты сам говорил, что он какой-то... нездешний, что ли? — Юсуф покрутил рукой возле головы.

— Да я его и не успел рассмотреть толком. Меня Алина тогда не интересовала. Так, видел мельком, знал, что вместе со мной на заочное поступает. Я тогда к

Сабиту приходил — он на дневном. Забегаю раз — нет его. Ищу везде, стучусь в какую-то дверь: там компания, и Сабиг там тоже. Ну, я подсел к ним...

— Да, помню, ты рассказывал. Муж к ней тогда, выходит, прилетал, чтобы поздравить?

— Ну, да! Как-никак студентка столичного вуза.

— И эта студентка, как и все, не устояла перед тобой.

— Ну, не говори пошлостей, дружище! — Кахрамон отошел от Юсуфа, сел на подоконник.

В большой, просторной комнате стоял тот устойчивый беспорядок, который всегда бывает в общежитии у холостяков: кровати были небрежно заправлены клетчатými одеялами, на столе стояли невымытые стаканы и тарелки, в которых плавали окурки, над небольшой полочкой с книгами торчал клоч вырванных обоев. Было накурено. Из открытой форточки тянуло осенним холодом, и Кахрамону стало грустно. Ему вспомнилась та, по сути, первая встреча с Алиной, когда он небрежной походкой общего любимца вошел в комнату и присел за стол рядом с Сабитом, скользнув глазами по присутствующим, чтобы определить: которая среди девушек самая хорошенькая? Алину он, действительно, и раньше видел среди абитуриентов, но в этот вечер она как будто похорошела: огромные светлые глаза ее были подкрашены, нестрое открытое платье оттеняло розовое, свежее личико. Она распустила волосы, и они длинными блестящими прядями падали на плечи. И лицо было у нее иным — не озабоченным, усталым, а каким-то торжествующим, чуть надменным. Возможно, если бы не это ее надменное выражение, Кахрамон обратил бы внимание на других. Он сам не замечал, что в последнее время все его встречи и знакомства напоминали поединки, как будто он и пленившая его девушка должны были померяться силами: кто кого? И чаще всего победа оставалась за Кахрамоном... Впрочем, он не был и Дон-

Жуаном, хотя в общежитии строителей за ним прочно утвердилась слава соблазнителя. Он затруднился бы ответить, почему девушки, встречавшиеся до сих пор, быстро надоедали ему, казались одинаковыми. Может быть, потому, что любовь зачастую заставляет вести себя одинаково даже людей совершенно различных? Возможно, это происходило оттого, что в сердце его таилась нерастроченная жажда чего-то необыкновенного, красивого — если любви, то такой, при которой весь мир преобразуется. И в каждую новую девушку он вглядывался с тайной надеждой: может быть, это та? Та, которая должна быть, конечно, красивой, как в сказке, и, как в сказке, доброй, сердечной, а еще — понимающей его... Встречаясь, он стремился окружить свою избранницу этой атмосферой необыкновенного, красивого, и девушки охотно шли ему навстречу и незаметно для себя начинали подыгрывать, стараясь быть лучше и возвышеннее, чем на самом деле, и он, видя это и понимая, вскоре уставал от взятой на себя роли и тогда становился резким, капризным, нетерпимым. И, рано или поздно, девушки уходили сами... А Кахрамон, уставая от разочарований, не уставал надеяться и ждать встречи, и в новое приключение он бросался все с тем же азартом и страстью, которые поражали даже тех, кто хорошо знал его и любил — за удачливость, за умение работать, не щадя себя, за веселый незлобивый нрав. И сейчас, сидя против Алины, которая бесстрашно и чуть презрительно наблюдала за ним, он почувствовал себя, как перед встречей на ринге — холодок и чувство опасности, и веселое предчувствие удачи...

— Что же не поздравить меня? — чокаясь с ним стаканом, наполовину наполненным красным искрящимся вином, проговорила она и, не дожидаясь ответа, выпила, запрокинув голову так, что он заметил, как пульсировала голубая жилка на длинной, стройной шее.

— С чем это?— дерзко разглядывая ее всю, спросил Кахрамон у Сабита.

— Да с тем, с чем и тебя,— ответил тот и, косясь на Алину, зашептал: — Что вы оба, с ума, что ли, сошли? Вон рядом с ней муж сидит, а вы, будто здесь нет никого...

Кахрамон мельком взглянул напротив: скромный серый костюм, очки, мягкие невыразительные черты лица, длинные пальцы руки, которой он убрал с лица Алины прядь волос...

— А-а, ладно! — сказал он, отталкивая Сабита.— Надоело мне все. Пойду философию читать...

— Философию? — удивился Сабит. — С чего это? Впрочем, тебе только философии и не хватает.

Уходя, Кахрамон оглянулся на Алину. Она посмотрела ему вслед, и в глазах ее — огромных, прозрачных — было удивленное и какое-то растерянное выражение.

«Один—ноль!» — зачем-то сказал себе Кахрамон и, придя в общежитие, сразу же завалился спать и спал крепко, без сновидений.

Они встретились на завтра, во время лекций, и весь этот месяц, пролетевший, как сон, почти не расставались. Стоял сентябрь, и в тепло ясных, солнечных дней по утрам вплетался холодок — то свежестью прохладного ветра, то беловатым налетом инея на пожухлой траве... И оба они, оторванные от привычных рабочих будней, во время этой первой «установочной» сессии ощущали странную легкость, освобождение, что ли, и восторг новой студенческой жизни, и оба щедро дарили друг другу эту радость освобождения. Если бы Кахрамон попробовал разобраться в себе, то он, может быть, и заметил бы, что волшебного изменения мира в нем самом не произошло, а было просто освобождение от скуки — и все то же безоглядное желание любить. И Алина была не похожа на других девушек.

Страстно и жадно она упивалась каждым днем — и его заставляла быть таким же, безудержным, забывающим о целом мире... Иногда он поражался этому: ведь ей — всего двадцать, откуда же в ней эта боязнь что-то пропустить, недополучить то, на что, как ей казалось, она имеет больше прав, чем остальные? Но эти трезвые рассуждения уносились прочь с появлением Алины...

Вспомнив этот «студенческий» месяц, Кахрамон тяжело вздохнул. Прошла всего неделя, как уехала Алина, а ему казалось, что расставание длится вечность. Возможно, было трудно вновь вживаться в будничную, размеренную жизнь, а может быть, он привык к Алине, к тому чувству радости, которое приходило вместе с ней. И когда вчера от нее пришло письмо, он не колебался. Увидеть ее — хоть день, хоть час!

— Ладно, безумец! — Юсуф встал. — Мне пора собираться. Что же, желаю успеха. Если что — телеграфируй. Пока!

Он ушел, и Кахрамон поспешно стал собираться. До отлета было еще три часа, но ему не терпелось. Казалось, чем быстрее он приедет в аэропорт, тем быстрее поднимется в воздух самолет. Остальное время он провел, как во сне: ехал в троллейбусе, чигал газету в душном, переполненном зале аэропорта, вместе с группой пассажиров шел на посадку... И только когда подлетал к Алининному городу, вдруг как будто пришел в себя: почему же не написал Алине, даже телеграмму не дал ей? А вдруг ее нет в городе? И тут же стал успокаивать себя: куда ей ехать? Ведь сессия только окончилась, ей даже отпуск не положен.

— И у вас какие-нибудь неприятности? — спросил его сосед, моложавый еще, с тонкими жидкими усиками брюнет.

Кахрамон хотел было отмолчаться, но, взглянув в участливое, с мягкими карими глазами лицо соседа,

неожиданно для себя разоткровенничался... Об одном он только умолчал — что Алина замужем.

— Вам, паверное, и остановиться негде? — спросил его Николай Власович (так звали брюнега).

— Да-а, — замялся Кахрамон. — У нее — родители, а кроме того — бабушка... очень строгая...

— Тогда можете прямо ко мне, — убежденно заявил Николай Власович. — Как это — почевать на улице! Тем более, у вас такая любовь! Я, знаете... не знал любви... Мы живем вдвоем с мамусей. Она у меня золотая женщина, только вот оберегала меня очень... А вы — такой молодец! Ко мне — и никаких отговорок. Придете со своей девушкой в гости... Где она у вас живет? О-о, да она, кроме того, моя соседка почти! Мамочка будет рада. Она у меня романы обожает. Разумеется, книги...

Николай Власович помог Кахрамону: он отвлекал его все время, которое они ехали по городу в микрорайон, где была улица Чапаева, на которой, как сказал Николай Власович, «мой дом и дом вашей избранницы стоят почти рядом». Он говорил безостановочно.

— В наше время не так-то легко найти место в гостинице. Притом в городе, который некогда был одним из самых-самых... после Москвы, Ленинграда... ну и еще нескольких городов... Правда, у нас несколько скучновато, но зато у меня, — в голосе его послышалась гордость, — у меня найдется, чем вас попотчевать! У меня такие пластинки! Раньше я собирал все «моно», а теперь только «стерео». Вот сейчас везу четыре пластинки: Первый концерт Чайковского, Шестую симфонию — его же, Грига и Бизе. У меня уже есть такие, но те «моно», а эти «стерео».

— Подождите, пожалуйста! — остановил его Кахрамон, когда они вышли из автобуса и остановились, чтобы переждать машины.

— А-а, позвонить хотите! — догадался Николай Власович.

Кахрамон вошел в будку, набрал номер. Он заметил, что пальцы его — то ли от пронизывающего осеннего холода, то ли от волнения — несколько раз срывались с диска.

— Что, ничего и никого? — заговорщицким тоном проговорил Николай Власович и отстранил Кахрамона:— А ну-ка, попробую я теперь.

Но монета опять провалилась внутрь, и в трубке послышались длинные, тягучие гудки.

— Поедем, от меня позвоним по нормальному телефону!

— Нет, я сначала — к ней, — ответил Кахрамон.

— А я — к мамусе. Ну, ждем вас, молодой человек!— Николай Власович церемонно поклонился и пошел, далеко отставив от себя огромный кожаный портфель — вероятно, чтобы случайно не повредить свои пластинки...

— Сумасшедший! Ты здесь! Ты приехал! — говорила Алина, обвиняя и целуя его. — Хорошо, Кузикова не было. Ведь я только пришла... Только-только. Вдруг звонок. Я думала — это он. Открываю дверь, а это ты! Со мной чуть дурно не стало. Ты! Это ты! Я люблю тебя! Люблю! Не могу, боюсь поверить! Боже, что же это такое!

Кахрамон видел только блеск ее глаз. Улыбался, обнимая ее. Ему было хорошо, так хорошо, как никогда. Он слушал ее голос, старался понять, о чем она говорит, и не слышал. Он дышал ею, впитывал в себя ее смех, оттенки голоса, звуки ее шагов. Он был счастлив в эту минуту, счастлив от того, что приехал, что решил подняться к ней, позвонить.

О том, что было бы, будь в ту минуту дома муж,

открой дверь не она, а Кузиков, Кахрамон не думал (вернее, думал и мучился, когда шел к ней), не хотел думать. В эту минуту никого для него не существовало. Она рядом, она с ним, и это главное.

Они шли мимо блочных четырех- и пятиэтажных домов, мимо штакетников, из-за которых прямо над асфальтированными дорожками свисали тяжелые ветки яблонь, и приходилось часто наклоняться, чтобы не поцарапать лицо.

Они не знали, куда идут. Просто шли, чтобы не стоять на месте. Им было хорошо так идти.

— Ты здесь, — повторяла она ежеминутно. — Если бы ты знал, что я за это время испытала, о чем только не передумала! Я так ждала тебя! Какой же ты умница, что приехал!

Он верил ей. Верил каждому ее слову. Верил себе, что не мог не приехать. Сейчас он забыл и даже не вспоминал то, что испытал в первую секунду, когда она открыла дверь. Забыл то выражение ее лица, когда она увидела его. Не помнил тех широко открытых глаз, в которых ничего не было, кроме растерянности и испуга. Не помнил того чувства, того раскаяния, которое мгновенно переполнило его, заставило пожалеть о легкомысленном поступке.

Сейчас перед ним была та же Алина, которую он любил, как ему казалось, и как есть на самом деле, это он понял именно в эти минуты. Он уже забыл, что несколько минут назад клял себя последними словами, собирался уехать немедленно. Забыл, все забыл.

Сейчас была она и был он. Был мир, который жил только в них и только для них, остальное отодвинулось, ушло.

— Куда же мне тебя устроить? — сказала она задумчиво, но он перебил ее.

— Ничего не надо. Все в порядке. Я гут познакомился с одним... Это такой человек. Инженер. Изобретатель.

Он живет рядом. Твой сосед. В самолете познакомились. Я у него... между прочим, я ему рассказал о тебе.

— Все рассказал? — голос ее прозвучал настороженно.

— Ну что ты! — засмеялся Кахрамон. — Конечно, не все. Рассказал, что живешь с бабушкой, что она очень строгая, что любишь музыку. Он тоже, вы в этом сошлись. Говорил, что у него богатейшая фонотека. Приглашал тебя в гости, хотел познакомиться. Давай к нему пойдем, прямо сейчас?

Кахрамон загорелся неожиданно пришедшей в голову мыслью.

— погоди, — остановила его Алина. — Я еще не посмотрелась на тебя, не наговорила. Мне рассказать много надо, все... Ведь больше недели, год целый прошел, как мы расстались.

Она прижалась к нему всем телом и зашептала жарко:

— Пойдем туда, там скамейка. Посидим немного...

Алина целовала его, рассказывая, как провела эту неделю, что делала все это время, что передумала, перестрадала. Он обнимал ее, прятал лицо в ее мягкие пушистые волосы, кусал их, вдыхал в себя тепло, которое исходило от ее тела.

— Ведь мои ничего не знали, — говорила Алина, — требовали объяснить, почему я не приехала вовремя, почему задержалась. Не знаю, что я им говорила, выкручивалась, как только могла. Нельзя же было сказать им: «Не приехала вовремя потому, что влюбилась в Кахрамона, и скоро опять поеду в столицу». Потом мама с отцом ушли, а Кузиков... Не могла я! Понимаешь? Боялась его, рук его боялась, объятий. Думала — вот сейчас, сейчас он подойдет ко мне... страшно было! Не могла я после тебя, после всего, что было

с тобой... Он все понял. Спали мы отдельно, а утром он ушел на работу, обидевшись. Никак не мог понять, что в сущности произошло, почему я так вдруг изменилась. И так все дни. Я бабуле рассказала, что произошло, она знает. Мне кажется, что в душе она не против даже, что я разойдусь. Только она очень тебя боится. Говорит: «Увезет тебя к себе, закроет одну в доме, а сам будет уходить с друзьями развлекаться, в рестораны. У них, мол, свои законы». Я успокаивала ее как могла: «Он не такой, потому и полюбила его...»

Кахрамон проснулся рано. Часы показывали всего половину восьмого. Из-за дверей раздавался приглушенный голос Николая Власовича, разговаривавшего с матерью.

— Вы знаете, — встретил Кахрамона улыбающийся Николай Власович. — Вам можно позавидовать...

— Почему? — засмеялся Кахрамон. Он понял, что разговор будет об Алине, с которой он вчера был здесь.

— Эта девушка... Я всегда мечтал встретить такую... Только вы не говорите этого мамусе! — проговорил Николай Власович, оглядываясь на дверь, за которой его мать готовила что-то на кухне. — Она ужасно боялась таких... независимых, что ли! Наверное, опасалась, что я буду под каблучком.

— Коленька, зови гостя завтракать! — раздался из кухни голос «мамуси».

Алина пришла в половине десятого. Кахрамон уже не знал, о чем думать: ведь сама говорила, что придет как можно раньше. Значит, она давно должна бы прийти, но что, что могло случиться?

Боясь дать волю подобным мыслям, он пробовал найти себе занятие: снял с полки томик с новеллами Стефана Цвейга, но уже через несколько минут понял, что читать не в силах. Не мог сосредоточиться. Мозг

не воспринимал строчки, которые пробежали глаза. В голове одна догадка сменялась другой. Не зная, что делать, ходил по комнате из угла в угол, подходил к окну, смотрел на улицу в надежде — не мелькнет ли ее курточка. Чувствовал себя словно запертым в клетке. Подумал даже: может, навстречу выйти? Но пересилил себя. Зачем торопить события?

Хотел включить проигрыватель, послушать музыку, но не решился. Неудобно было хозяйничать в чужой квартире. В это время тонко пискнула дверь, и в комнату неслышно вошла «мамуся» Николая Власовича.

— Вы, наверное, ее очень любите? — спросила она, пытливо взглядываясь Кахрамону в глаза.

— Наверное, — улыбнулся он.

— А как ваши родители? Они знают?

— Что знают? Я у них... Это мое дело, не им жить.

— Скажите! А мне Николай Власович обо всем рассказывает. Советуется, — губы ее дрогнули.

Кахрамон молча смотрел в окно.

— Не знаю, как вам, но мне ваша девушка... простите меня, конечно, у каждого свой взгляд, свой вкус, как это говорят, поэтому я могу ошибиться.

— Ну что вы? — прервал ее Кахрамон. — Она очень хорошая. Работает, вот учиться поступила.* На заочное.

— Учиться — это хорошо. Хорошо. Но мне кажется...

В эту секунду прозвенел звонок.

— Она! — кинулся было Кахрамон, но «мамуся» преградила ему дорогу.

— Не беспокойтесь, я открою. Если это она...

Да, это была Алина.

— Собирайся, идем со мной, — быстро выпалила она, едва успев поздороваться.

— Куда?

— Ко мне. Давай быстрее.

— К тебе? Зачем?

— Потом, — отмахнулась она. — По дороге все объясню.

Кахрамон растерянно смотрел то на Алину, то на «мамусю» Николая Власовича, словно ожидая от нее совета, помощи.

— Портфель брать?

— Бери. Все забирай.

— У меня только портфель, — топтался на месте Кахрамон, не зная, за что братья.

— Я позвоню вам, — говорил он хозяйке дома, словно оправдываясь за что-то, и повторил, — позвоню вечером.

— Зачем такая спешка? — спросил Алину Кахрамон, когда они попрощались с матерью Николая Власовича и вышли на улицу. — Ты ему сказала, что я здесь?

— Тебе и не надо ни о чем говорить. Все решено. Мы уже обо всем переговорили. Просто он хочет увидеться с тобой, познакомиться поближе. Он говорит: «Должен же я знать, кому отдаю тебя».

— Отдаю?

— Что ты остановился? Ну, конечно. Ведь мы же любим друг друга. Или нет?

— Ну что ты! Конечно... любим...

— Навечно, правда?

— Ты все рассказала?

— Он давно все знает. Он, когда уезжал, как будто что-то предчувствовал. Пришлось тогда поклясться ему, ой!

— И он знал... знал, что я приеду?

Алина пожала плечами.

— Не могу! — вдруг крикнул Кахрамон. — Не пойду я! Не могу и не хочу. Боюсь я, — сказал он и быстро взглянул на нее.

Она улыбнулась и сказала:

— Ничего не будет, поверь мне. Я очень хорошо знаю Кузикова. Он...

— Ты не понимаешь! — закричал Кахрамон. — Ты думаешь, я его боюсь! Нет! Но как в глаза ему... Я уеду лучше!

— Зачем уезжать? Не хочешь — не ходи. Подумаешь, проблема!

— Что-что? Что ты сказала?

— А что? Действительно, нашел проблему! — повторила она ровным, словно ничего не случилось, голосом.

— Аля, или ты действительно ничего не понимаешь, или... — Кахрамон смешался. — Ты... ты... издеваешься надо мной? — Он смотрел так, словно увидел ее впервые, и повторил еще раз: — Как я в глаза ему буду глядеть? Ведь он прав сейчас... во всем прав, а у меня ничего нет, что можно сказать.

— Надо было раньше думать! — сказала она жестко.

«Конечно! — пронеслось в голове у Кахрамона. — Она права. Нужно было думать раньше! Но почему, почему я действительно как-то не думал обо всем этом, наоборот — хорохорился, воображал, что даже забавно будет встретиться с ним? Как глупо, должно быть, выгляжу я сейчас в ее глазах!»

— Ну же, трусишка! — сказала Алина, почти увлекая его за собой. — Идем, а то я подумаю, что ты меня не любишь.

— Идем! — решительно сказал он и, подхватив портфель, быстро зашагал к ее дому.

Гулкое эхо от их шагов заметалось в подъезде: Кахрамон шел следом за Алиной и все еще не верил до конца, что войдет в квартиру, не повернет обратно.

Шел широко, стараясь заглушить в себе что-то, считал ступеньки: первая, вторая, пятая... первый этаж.

Восьмая, одиннадцатая... лестничная площадка... второй этаж.

— Аля, я...

— Оставь. Не говори ничего, — сказала она почти резко, и опять он пожалел, что приехал, что послушал ее, пошел за ней.

Дверь отворилась секундой позже звонка, почти одновременно с ним.

— Проходите, что же вы.

Голос Кузикова прозвучал ровню, почти буднично.

Алина шагнула первой, за ней, опустив голову и боясь встретить взгляд Кузикова, Кахрамон. Первое, что он подумал, когда проходил мимо него, это: «А он, оказывается, выше меня». Тогда, за столом, он показался Кахрамону каким-то невзрачным, ниже ростом.

Миновав коридор, Кахрамон оказался в комнате, приспособленной, по-видимому, под кабинет и гостиную, быстрым взглядом окинул ее и замер. Фотографии Алины. Она была всюду: улыбалась со стен, грустила на полированной поверхности серванта, задумчиво смотрела из-за стекол книжных полок.

— Алёк, надо бы за вином сходить, а? — сказал Кузиков, вопросительно глядя на жену.

— Сходи, пожалуйста, сам, — ответила она.

— Алина, у меня в портфеле... посмотри, там есть, — сказал Кахрамон, метнув взгляд на Кузикова.

Вчера, перед тем как отправиться в аэропорт, он купил две бутылки «Таврического». Одну распили у Николая Власовича, вторая так и осталась в портфеле. Сейчас вспомнил о ней и обрадовался.

Пока Кузиков открывал бутылку, Алина принесла и поставила на стол три фужера и вазочку с яблоками.

Кахрамон смотрел исподлобья на Кузикова, который разливал вино в фужеры, видел, как вздрагивает рука с бутылкой. «Волнуется», — отметил он про себя с не-

которым даже облегчением и, сразу успокаиваясь и стыдясь своих мыслей, отвел взгляд.

— Ну, поедем. Так, кажется, говорят у вас в общезитни, — сказал Кузиков и первым поднял свой фужер. — Выпьем за знакомство!

Он посмотрел Кахрамону в глаза.

И опять Кахрамон не выдержал, отвел взгляд.

Выпили. Кузиков до дна, Кахрамон половину, Алина лишь пригубила вино и поставила фужер на стол.

— Вот мы и вместе.

— Ты хотел увидеть его, — сказала Алина, закуривая сигарету. — Я привела.

— Я знал, что ты придешь, — сказал Кузиков.

Кахрамон удивленно поднял голову.

— Только ждал тебя в субботу. Она встретила тебя?

— Я ничего не знала, — сказала Алина.

— Она не знала, что я приеду.

— Ну как же, — усмехнулся Кузиков, — приглашаешь и не знаешь, что он тут же приедет? — Он поглядел на жену и покачал головой. — Тогда ты его недоценила. Ты получил ее фотокарточку?

— Вчера. Перед самым отъездом.

— В том письме она писала: «Прилетел бы ты хоть на день». Есть там такая строчка?

Кахрамон вздрогнул, как от удара, пристально посмотрел на Кузикова, но не выдержал его взгляда и опустил глаза.

«Откуда он знает, что было в письме? Ведь не сама она...» — ужаснулся Кахрамон.

— Одно скажу вам, — говорил Кузиков. — Спасибо, и знаете, за что? Ни в одном письме вы не упомянули меня, моего имени. За это вам спасибо.

«Ни в одном письме? Что это? Значит, все письма он читал?» — старался осмыслить происходящее Кахрамон.

— Одно мне непонятно, не могу взять в толк, — гово-

рил Кузиков. — Как можно любить и врать одновременно? Почему ты ничего не сказала сама, в тот же день, как приехала? Ведь ты от всего отказывалась?

— Вы мне и рта не дали раскрыть, — сказала Али-на. — Налетели на меня скопом. Что вы мне устроили? Суд какой-то!

«Зачем? Зачем ты об этом?!» — мысленно умолял ее Кахрамон.

— Не я, а твои родители, — ответил ей Кузиков, беря в руки бутылку и разливая вино.

— Но по твоему наущению! — отпарировала Али-на.

— Хорошо, — поморщился Кузиков. — Не об этом речь. Не для этого случая.

Он выпил, закурил, несколько раз глубоко затянул-ся и сказал:

— Ведь я все знал... с самого начала знал.

— Надо было сказать, что тебе все известно! Тог-да же, когда я приехала домой! Не пришлось бы врать, как ты говоришь! — скороговоркой выпалила Али-на.

«Не то! Опять не то! — билась в голове Кахра-мона мысль. — Ведь он прав! Во всем прав! Как ты можешь! О чем ты говоришь!»

— У меня страшная интуиция по отношению к ней, и она это хорошо знает. Много раз убеждалась, — го-ворил Кузиков, рассматривая на свет свой фужер. — Я всегда чувствую, когда с ней что-то происходит.

— Когда ты приезжал, мы были чисты перед то-бой, — сказал Кахрамон хриплым голосом.

— Я знаю, — сказал Кузиков и посмотрел на Али-ну. — Ну что, Олененок, сходи в магазин.

— Пойди ты. Я не могу сейчас! — проговорила Али-на, глядя на мужа немигающим взглядом.

— Может, мы сами? — сказал Кахрамон несмело.

— Хорошо. Мы сходим, а ты полежи пока. Успо-койся.

Гастроном находился через дорогу, почти против

дома, метрах в ста — ста пятидесяти от подъезда. День только начался. Возле прилавков почти никого не было. Кузиков остановился взять сигареты, а Кахрамон прошел в винный отдел. Выбор небогатый. Хорошего вина он не увидел и поэтому в нерешительности стал ждать Кузикова.

— Держи.

Кузиков протянул Кахрамону пачку «Столичных».

— Что возьмем?

— «Старку». Лучше ничего нет, — сказал Кахрамон. — Ты пьешь водку?

— Водку в наше время все пьют, — сказал Кузиков и вытащил деньги, но Кахрамон опередил его.

— Пожалуйста, бутылочку «Старки», — попросил он продавщицу, протягивая ей пятерку.

— Зачем? У меня есть, — отстранил его руку Кузиков.

— Разве не все равно? Зачем ты так? — сказал Кахрамон и поспешно сунул в руки молоденькой девушки в белом халате деньги. — «Старку», — повторил он.

Они вышли из магазина, прошли мимо успевшего с утра «нагрузиться» мужичка, который держался за дерево обеими руками, мычал себе под нос. «Эх, зачем меня мать родила...» — донеслось до Кахрамона. Он улыбнулся.

— Ребята, подождите... ребята, — обрадованно говорил мужичок, стараясь удержаться на подгибающихся ногах. — Давайте на троих, а? Что там на троих — таких так-а-ких а-о-рло-ов!

Кузиков обошел его, словно не слыша и не видя, кто встал на пути — кукла или человек.

С минуту они шли молча.

— Ведь я не хотел идти, честно говорю! — вырвалось вдруг у Кахрамона. — Боялся.

Кахрамон смотрел вперед, боясь повернуть голову.

— А ведь у меня первый разряд по боксу. Не могу понять, что со мной. В первый момент хотел даже уехать — и опять испугался.

— Испугался потерять ее?

Кузиков говорил глухим голосом, и Кахрамон вдруг понял, по-настоящему понял, что этот внешне спокойный, выдержанный человек («машина», как его называла Алина) страдает. Сейчас он напоминал сердечника, который ловит ртом воздух, но не может ни вдохнуть, ни выдохнуть.

— Видел я, как вы шли, — говорил Кузиков. — До последней минуты гадал, кто из вас первым войдет. Если ты, значит, ты действительно сильный человек, каким тебя описывали. Но ты...

— «Сильный», — усмехнулся Кахрамон. — Чтобы быть сильным, нужно быть правым.

— О, ты — вернее, вы оба — правы. Любовь! Вот я неправ, потому что мое чувство к ней — обыкновенное. Как... к ребенку, наверное. Ребенок ведь никогда не замечает, на что готова для него мать. А у вас — необыкновенно...пряно...

— Что это за слово глупое — «пряно»? — поморщился Кахрамон.

— А это не мое. Это ее... определение...

— Что? — голос Кахрамона дрогнул. — Она так сказала?

Вновь наступило молчание. Уже когда поднимались по лестнице, Кузиков сказал, по-видимому, не выдержав и торопясь закончить начатый разговор:

— Ей нужен был принц. Вот... нашла, и теперь ее...

— Какой я принц? — вырвалось у Кахрамона. — Я же... не хотел.

— Что «не хотел»?

— Не знаю... Только не это...

Кахрамона нестерпимо жгло чувство вины. До него

вдруг дошло, что он обманул кого-то. Обманывал всегда. В жизни был как на сцене — играл, играл и заигрался. Переиграл. Обманул кого-то, но в первую очередь себя. «Как же так?!» — закричало все в нем.

На площадке, не доходя до двери двух шагов, Кузиков остановился и сказал:

— Скажи, Кахрамон, что бы ты сделал на моем месте?

— Я? — встрепенулся, как подстреленная птица, Кахрамон.

— Ты.

— Не знаю; — признался Кахрамон и, подумав, повторил вновь, — не знаю.

— Ушел?

— Во всяком случае, как ты... не смог бы.

— Ты действительно искренен.

Кузиков говорил так, словно преодолевал что-то в себе.

— Я думал, ты...

Он не договорил, повернулся и надавил кнопку звонка.

— Если бы познакомились тогда! — успел сказать Кахрамон. — Не ожидал я, что ты такой.

Пока они ходили в магазин, Алина успела накрыть стол.

Нарезала колбасы, разогрела жареные кусочки курицы и красиво обложила их зеленым горошком и тонко нарезанным луком. Так нарезать лук научил ее Кахрамон.

Кахрамон и Кузиков сели друг против друга. Алина — посередине. Она устало откинулась в кресле и молча наблюдала за ними, смотря то на мужа, то на Кахрамона, как будто старалась прочитать в их глазах, о чем они говорили без нее.

— А знаешь, Кахрамон, я все это предчувствовал, — говорил Кузиков, разливая водку по рюмкам. — Разрешая ей поступать к вам в институт, я сам себе рыл яму. Да и потом, когда она поступила, я мог пойти, забрать документы и увезти ее домой. Родители ее так и советовали сделать.

— Зачем ты говоришь это? — сказала Алина, потянувшись за сигаретой. — Ничего бы ты не сделал. Не забрал бы документы, как только что сказал, не забрал бы меня, а если и так, неужели ты думаешь, что после этого я бы с тобой осталась?

«Как холодно она говорит это!» — думал Кахрамон. Сердце у него билось тяжело и как-то глухо: «Ух! Ух!»

— Ты знаешь, я никогда никого не слушаю, делаю, как считаю нужным сама! Делаю, что хочу! Вот и на стройку пошла вопреки своим. Как ты, они меня секретаршей устраивали в какую-то контору! Ну, конечно! Чтобы я на цыпочках перед каким-то кретином ходила!

— Перестань, Аля, — тихо попросил Кузиков.

— И тебе ведь говорили: не женись на ней, потому что она моложе тебя намного. И ты ведь никого не послушал. А уж я... Ты же знаешь, как я росла! Мне все легко давалось, ни в чем мне не отказывали... И я своего добивалась. Даже тебя, Кахрамон...

Она стряхнула пепел, глубоко затянулась.

Кахрамон упрямо смотрел в свою рюмку.

«А если... что-то со мной случится? — вдруг пришло ему в голову. — Если... Ведь тогда я мгновенно стану скучным... перестану быть для нее принцем... Какой у нее... визгливый голос!»

Он украдкой взглянул на нее и снова удивился ее спокойствию. Она сидела в нарядном светло-зеленом платье, красивая, уверенная, и пальцы ее держали сигарету небрежно. И как-то «цепко», — пришло почему-то ему в голову это слово.

«Пряно», — сказала она о нас. Как о еде! Откуда у нее эти... гастрономические термины?

— Ну, что же. Пожалуй, хватит идиллии, — отставляя рюмку, сказал Кузиков. Голос его при этом предательски дрогнул и сорвался. — Еще раз хочу выслушать тебя, Алина...

Он закурил, пряча руки, боясь взглянуть на нее, прочесть в глазах приговор.

— Говори! — почти приказал он.

Алина обвела их взглядом. Кровь бросилась в лицо Кахрамону. У него было такое чувство, словно его привели на базар и вот выставили, как вещь...

— Говори! — почти приказал Кузиков.

— Прости, Володя, — улыбнувшись и тут же снова придав лицу серьезное, сосредоточенное выражение, прошептала она.

— Ну, вот и все, — выдохнул Кузиков и взглянул на часы. — Полчаса на сборы и... Собирайся!

И хотя все это было предрешено еще со вчерашнего дня, у Кахрамона в груди словно лопнул сосуд с ледяной жидкостью, и дрожь прошла по его телу.

— Подождите... — начал он. — Может, ты не...

— Нет. Все пра... — Алина удивленно глядела на Кахрамона.

— Все! — жестко сказал Кузиков. — Собирайтесь. Да собирайтесь вы!

— Не торопи!

— Пойдем, Алина, — Кахрамон почувствовал: роли теперь переменялись. Теперь хозяин положения — он. И он торопился уйти, прекратить это унижительное состояние...

Встали. Кузиков подошел к письменному столу, выдвинул ящик, порылся в нем.

— Вот тебе деньги. На дорогу, — сказал он и почти вытолкнул ее в коридор.

Билеты они купили сразу. На двадцать два двадцать. Было без двадцати шесть.

— Поедем-ка к твоему Николаю Власовичу, — сказала Алина, по-хозяйски сворачивая билеты и засовывая их в карман своей желтой с меховой опушкой курточки. — Бутылку вина захватим. Кузиков, видишь, на дорогу нам дал!

— Зачем ты так... Алина? — спросил Кахрамон тихо. Чувство вины в нем усиливалось, и даже не знал — перед кем? За что? И вместе с тем робко, исподволь, нарастало и другое — страх... А где-то — уж совсем в глубине — шевелилось подленькое: «А ведь это же не я первый предложил ей уехать... Это они...»

«Они!»

Он испугался, поймав себя на этой мысли. Ведь теперь у Алины никого нет, ведь всю ответственность он взял на себя.

А готов ли он к этой ответственности?

Сказка кончалась... Где-то впереди были мысли о том, что с прежней, вольной жизнью покончено, что нужно искать квартиру, думать о семье. И хотя эти мысли еще по-настоящему не овладели Кахрамоном, то, что они будут, уже как будто связывало его, мешало сосредоточиться.

— Поедем! — беззаботно смеялась она. — Жалесшь ты, что ли, Кузикова? Пойми — он безнадежно скучен. Ему бы все по полочкам разложить, он все о верности говорит, о долге!

— А... мы?

— Что «мы»?

— А мы не будем о долге говорить, что ли? О верности?

— О! — она отодвинулась от него. — И ты!

Лицо ее сделалось обиженным, капризным.

— Знаешь, — заговорила она немного погодя, когда они уже сели в такси, чтобы ехать к Николаю Вла-

совичу, — ведь вы все это придумываете, чтобы только осложнить жизнь. А она и так сложна... На работе устанешь — хочется отдохнуть, и отдохнуть не просто — красиво... Я ведь не маменькина дочка, работаю я — дай бог! Сам знаешь, на стройке не будешь вкалывать — не продержишься в бригаде. Кто же за тебя будет работать? Но только как подумаешь, что всю жизнь вот так будешь и все — страшно... А ведь я — женщина! Ведь мне — двадцать всего!

Кахрамон молчал, слушал. Да-а, как не просто все... А ведь они никогда не говорили с Алиной вот так, по душам. Когда летел к ней, как-то не думал, что все обернется чем-то серьезным, таким, что переворачивает душу и тревожит, требуя ответа — какого ответа, Кахрамон не знал.

— Ненавижу скуку! — говорила Алина, прижимаясь к Кахрамону. — Вот ты... такой сильный! И веселый! С тобой я ни о чем не задумывалась. А ведь думать — страшно. Становишься «синим чулком». У нас есть девчонки такие, ребята их побаиваются, честное слово!

— Конечно, зачем же волноваться? — вдруг сказал Кахрамон. — Зачем? Вот твой Кузиков, наверное, сейчас умирает в своей квартире, глядя на твои фотографии — а мы с тобой, захватив с собой бутылочку, в гости едем!

— Что он тебе дался?! — с ожесточением, отодвигаясь от него, проговорила Алина.

— А то, что он тебя любит! — ожесточение овладело и Кахрамоном.

— Ну и что же! Мало ли кто меня любил!

— Мало ли? Выходит, ты и меня к ним причисляешь?

Кахрамон понимал: ссора была донельзя глупой. Что он, в самом деле, хочет от нее? Чтобы она сейчас плакала? Чтобы жалела Кузикова? И тем не менее он ничего не мог с собой поделать.

— Я тоже работаю! И домой прихожу чумазый!

Знаешь, после смены я не очень-то на принца похож!
— Остановите такси! — вдруг потребовала Алина. И когда такси послушно остановилось, она выскочила на асфальт. Лицо ее в темноте наступающего вечера, искаженное злостью, было неузнаваемым.

— Возьми свои билеты! И не смей идти за мной, слышишь? Ты!

Такое презрение, такое высокомерие было в этом голосе, что Кахрамон, который вслед за ней выскочил из такси, остановился.

— Алина, перестань капризничать!

Голос его против воли прозвучал неубедительно, и это словно подстегнуло ее, она заторопилась, почти побежала прочь, и была в ее нарочито вызывающей фигурке какая-то беспомощность, словно она, свернув за угол, зайдется плачем.

— Аля!

Он кинулся за ней, схватил за руки. Она исподлобья посмотрела на него. Губы ее кривились:

— Я... к бабушке забегу. Подожди меня немного.

— К бабушке?

— Ну, да. Вот дом. Мы же почти доехали. Вон Кузикова... наш дом, а вот твоих знакомых. Подожди...

Он отпустил такси, сел на скамейку, закутавшись в плащ. В домах загорелись красные, желтые, сиреневые огни, и были они неожиданно-менящими и какими-то грустными во тьме надвигающейся осенней ночи.

Ему захотелось в свою комнату, к прежней беззаботности и легкости. Сидеть бы сейчас на подоконнике, болтая с Юсуфом о том о сем... Не думать ни о чем сложном.

Да ведь это же говорила ему и Алина, — а он обрушился на нее так резко... и грубо!

Начал накрапывать дождь, сначала чуть-чуть, а потом все сильней, сильней... Он взглянул на часы — прошел час. Алины все не было. Он вскочил, прошел к до-

му, затем обратно. Никого! Он нашел взглядом окно квартиры Кузикова. Там было темно. Значит, она действительно пошла к бабушке. Но бабушка... в какой квартире живет она? Не будешь же спрашивать прохожих: где здесь бабушка, у которой есть внучка Алина? Да и если он постучится, ему могут не открыть. Неизвестно, какая там бабушка...

И в этот момент он увидел ее. Невероятно, но, увидев аккуратную, бодрую еще старушку в прозрачном плаще, он сразу почувствовал — это она, бабушка... И это действительно была она. Оглядевшись, она направилась прямо к Кахрамону.

— Ты, сынок, портфель-то ее оставь там... в камере. Мы потом его заберем.

— А-а... — начал было Кахрамон, но тут же запнулся, замолчал.

— А ничего, миленький. Вы еще с Алькой-то суженых своих, видно, не встретили. Ты-то что — молодой, свободный... Езжай, миленький, езжай себе на здоровье. А чемоданчик-то ее оставь, мы потом заберем его.

Чувствуя, как багровеет его лицо, Кахрамон молча повернулся и пошел в темноту...

Через два часа он выходил из привокзального ресторана, и черная кудрявая шевелюра его была растрепана, а глаза бессмысленно-сосредоточены.

— Ты знаешь, друг,— говорил он тихому, незаметному старичку, который вел его, бережно поддерживая под локоть, — ведь мы все... Только берем друг от друга! И я...

— Ладно, ладно, парень,— увлекая его вперед, шептал старичок. — Тише! А то в милицию попадешь, а не на поезд...

— Пусти меня! Ты, может, еще хочешь выпить? Пойдем. В долг попросим.

— Девушка, присмотри за ним, — сказал старичок высокой, с грубым неприветливым лицом проводнице.—

Он парень неплохой, видно. Чего-то с горя... вот. А я побегу. Мне некогда.

— Некогда!—ворчала проводница.—Наклюкаются, а потом смотри за ними! Вот дружинникам скажу... Двадцатое место покажите ему там!

Кахрамон лежал, не в силах пошевелиться. В голове гудело. И в это гудение сначала робко, потом все настойчивее стал вплетаться стук колес, словно молоточками били по голове: «Тук! Тук!»

— Билет давайте! — по-прежнему неприветливо сказала проводница. — Рубль за постель.

— Не надо постели.

— Чего?

— Нет у меня рубля, — сказал Кахрамон, открывая глаза. — Понимаете, я...

Он не договорил, отвернулся к стенке. Незаметно заснул.

Проснулся от холода. Тонкий плащ не помогал: холодные струи воздуха проникали в невидимые лазейки, казалось, продувая его насквозь. Он ворочался, боясь подняться, растерять остатки тепла. Мимо прошла проводница. Он закутался с головой: стыдно было даже смотреть на нее.

Становилось неважно. И когда, наконец, он совсем уж решился встать, походить по вагону, на ноги, а потом и на грудь упало что-то тяжелое.

«Одеяло!» — сразу понял он.

Кахрамон чувствовал, как осторожно — видно, боясь разбудить его — на нем расправили одеяло, подоткнули края под матрац, чтобы не дуло. Он боялся пошевелиться, выдать себя, что не спит. Ему стало хорошо, так хорошо, что, казалось, еще немного—и он заплачет...

— Пассажиры, вставайте. Пора, а то умыться не успеете, — громко говорила проводница, проходя по вагону.

Кахрамон тоже проснулся от ее голоса.

«Вот и дома», — подумал он. Представил себе удивление Юсуфа, его жадные расспросы. И вдруг понял: он не сможет теперь говорить с ним так, как раньше — откровенно, беззаботно... Он словно повзрослел за эти два дня.

Он поднялся, аккуратно сложил одеяло. Проводница уже собирала белье: в начале вагона мелькал ее серый пиджак, подкрашенные, небрежно собранные волосы. Кахрамон успел заметить простые сбившиеся на коленях чулки.

Он подошел к ней, протянул одеяло.

— Это вы? Спасибо вам.

— Не за что, — сказала она и улыбнулась. Лицо ее посветлело от улыбки, жесткие черты словно разгладились.

И Кахрамону стало опять хорошо на душе. Он повторил, не зная, что сказать:

— Спасибо вам... Большое...

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---------------------------------------------------|------------|
| Ласточки Сослана* <i>Повесть</i> | 3 |
| Знойная пора. <i>Повесть</i> | 53 |
| Рассказы | |
| На съемках* | 147 |
| Встреча* | 157 |

© Издательство литературы и искусства
имени Гафура Гуляма. 1980 г.

Исфандияр Маткаримович Маткаримов

ЛАСТОЧКИ СОСЛАНА

Повести и рассказы

Редактор А. Липкина
Художник А. Визель
Художественный редактор А. Пономарев
Технический редактор Е. Потапова
Корректор Э. Сидова

ИБ № 1645

Сдано в набор 16.07.80. Подписано в печать 24.12.80. Р 16226. Формат 70×108^{1/32}.
Бумага типографская № 1. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл.
печ. л. 8,05. Уч.-изд. л. 8,3. Тираж 60.000. Заказ № 395. Цена 65 к.

Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма. 700129. Ташкент,
ул. Навои, 30.

Типография № 1 Ташкентского полиграфического производственного объедине-
ния „Матбуот“ Государственного комитета УзССР по делам издательств, полиграфии
и книжной торговли. Ташкент, ул. Хамзы, 21.

65 к.

